
Г.Д. Гачев



Логика вещей и человек
Прение о правде и лжи
в пьесе М. Горького
„На дне“

Г. Д. Гачев

Логика вещей и человек
Прение о правде и лжи
в пьесе М. Горького
„На дне“



Москва
«Высшая школа» 1992

ББК 83.3Р7
Г24

Р е ц е н з е н т:

кафедра русской литературы XX в. Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (зав. кафедрой проф. И.Ф. Волков)

Гачев Г.Д.

Логика вещей и человек. Прение о правде и лжи в
Г 24 пьесе М. Горького «На дне»: Учеб. пособие. — М.: Высш.
шк., 1992. — 95 с.

ISBN 5-06-002485-7

В книге дан философский анализ пьесы: она рассматривается как диспут, в котором принимают участие «платоник» Сатин, «эпикуреец» Барон, «циник» Бубнов, «христианин» Лука... В центре внимания автора парадокс: почему правда человека о себе выглядит ложью на языке логики фактов?

Г 4603020101(4309000000)—197 308—92
001(01)—92

ББК 83.3Р7
8Р2

ISBN 5-06-002485-7

© Г.Д. Гачев, 1992

Правда — против человека

«Правда глаза колет» — значит, боль человеку приносит. А если так, то что дороже: человек, его счастье или правда? Но возможно ли неправедное счастье? И останется ли человеком тот, кто правду попирает?

Этой серией вопросов истина критикует наше обыденное понятие о человеке, требуя его согласования с собой: чтобы он был истинным человеком, настоящим. Но навстречу вздымается от человека своя претензия к правде. Человек — вот он здесь, налицо — его потрогать можно, а правда где обитает? В словах — то есть в невидимом, в идеях, в уме. Так неужели слову — тому, что есть звук пустой, служить должно живое существо, а не слово — человеку? И зачем истина, если она расходится с интересом человека? Праведна ли бесчеловечная правда? И вообще, является ли она тогда правдой?

Вот тот круг вопросов, который обрушиивается на каждого человека, лишь только он задумывается над смыслом жизни, существования: возможно ли как раз само это соединение? А если да, то как соединить людям, мне свое существование со смыслом, а высокий смысл — с жизнью?

Есть полосы в жизни человека, когда он буквально заболевает этими проблемами, так что, не разрешив их, кажется, уж жить не сможет. Есть такие периоды и в истории общества, когда напряженно ищут истину, перетряхивают готовые решения и не успокаиваются, пока не найдут свой путь, историческую задачу именно своего времени, дело, которое должно быть выполнено именно нами, а никем другим.

Конечно, «высокая болезнь» поисков истины сопровождает человечество на всем пути его, но, как и в течении болезни, бывают времена кризиса. Температура достигает предельной высоты, весь организм поставлен на грань жизни и смерти, и тогда — или пан или пропал! Если же пан — о, тогда воистину счастье и прозрение наступает: эврика! Добыта истина!

Такое происходило с русским обществом на перекрестке XIX и XX веков и с писателем Горьким, когда он писал пьесу «На дне» (1902). «На дне» — это прение о правде. Здесь все: разные

люди — разные мировоззрения — идут на штурм правды.¹ «Правда» — сотни раз упоминающееся в пьесе слово, чаще даже, чем слово «человек». Пьеса — притча о правде, ее катехизис: она строится как цепь вопросов и ответов. Одни в исступлении проклинают правду, другие с неменьшей остервенелостью и даже самоубийственным злорадством тычут себе и людям в лицо правду. Но кто знает, что она такое?

В одном из своих поздних сочинений «Заметки читателя» (1927) Горький резко отталкивается от позиции «моралистов», взгляд которых «разрешает относиться к человеку, как, примерно, к сырью или — в лучшем случае — "полуфабрикату". Попирая человека "под нози своя", моралисты монументально возвышаются над ним, и это их вполне удовлетворяет. <...> Мне кажется, что было бы очень полезно смотреть на жизнь "пессимистически", а к человеку относиться со всем возможным оптимизмом.

Противоречие? Нет, почему же? Жизнь все еще, покамест, неудачная работа прекрасных мастеров...» (т. 24, с. 272—273)¹. Критикуя далее молодых советских писателей, Горький писал: «И все-таки человек остался в их глазах "человеком для того, чтобы", а не человеком, "потому что" он есть источник самой изумительной энергии, преодолевающей все сопротивления» (24, 277).

Вот почему неточно было бы говорить лишь об историческом оптимизме Горького. Нет, он больше, чем оптимист, — он исповедует счастье, разлитое по бытию, а не веру в жизнь ради счастья в будущем. «Ради» — это значит, что настоящий, неповторимый момент, каждый человек действителен не сам по себе, не излучает своей красоты, не имеет своего содержания и сам по себе не ценен, а светит лишь, как луна, — отраженным светом. Горький же зовет людей открывать и развивать в себе Человека не во имя счастья будущих поколений или ради будущего момента своей жизни, но для того, чтобы счастье и творчество стали нормой жизни в настоящем, которая, если в человеке проснулся творец и Человек, — отомкнет ему все кладовые своих красот.

Оптимизм как таковой, переносящий счастье и красоту Человека в будущее, т.е. в то, что не есть, — прекрасно укладывается в философию общества отчуждения, которая видит в человеке не абсолютную ценность, а рассматривает его как материал ради чего-то другого. Ну разве материалом ради будущего прожила свою жизнь красавица Нунча, о которой рассказывается в одной из последних «Сказок об Италии» (XXII), что она изошла радостью и счастьем, танцуя всю ночь, и рухнула во время тарантеллы, «этой пламенной пляски, опьяняющей точно

¹Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949—1956. Т. 24. 1953. С. 272—273. Далее в тексте первая цифра в скобках обозначает том, следующие — страницы этого издания.

старое, крепкое, темное вино»? Ведь не от памяти же о ней, а от ее живого присутствия, от ее существования «люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца <...> Стоит Нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желания нравиться ей, — перед красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь». И ее красота, как и хороший стакан красного вина, «подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряни... Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солнце, — вино расскажет вам такие сказки...» (10, 134).

Но почему же сказки? Ведь только что сказано, что красота бытия и Человека есть истинная реальность, а «дряни» — лишь «довольно много». И вот вся сложность положения, в котором оказалось человечество в XX веке (и сознание его идеологов, в частности — Горького), состояла в том, что эту истинную реальность приходилось извлекать из-под спуда «дряни» — и она представляла (с точки зрения «здравого смысла» и «трезвого мышления») не как реальность, а как сказка, не как правда, а как прекрасная ложь, придумываемая людьми для самообмана и самоутешения.

В этом выражалось как предельное отчуждение от человека его человеческой сущности, так и отчуждение мышления от истины, логики — от сути вещей: общество отчуждения приучило людей взирать на себя и состояние людей в его механизме как на то, что есть истинное реальное бытие, обладает атрибутом существования, а на Человека, идеал и т.д. — как на химеры, призраки, символы и т.п. И вся трудность состояла в том, что логика «фактов» подтверждала это, ибо сама наличная логика, которой оперировало господствующее общественное сознание, отработана была на фактах классового общества, на его реальности. В системе «логики вещей» не могло найтись способа, чтобы обнаружить, доказать, явить глазам людей реальность Человека и наносность, призрачность дряни отчуждения.

Эта проблема мучила Горького на протяжении всей его жизни. Вступив в литературу со страстным убеждением, что человек велик и прекрасен, что его творчество и его счастье — высшие ценности на земле, Горький сразу столкнулся с той трудностью, что он мог об этом сколько угодно заявлять, кричать, петь, — но доказать этого не мог. Всем очевидные факты жизни говорили, что роль человека в жизни становится все более мелка и незначительна, что за его счет крупнеют города и вещи. «Созданное людьми поработило и обезличило их», — писал сам Горький в «Челкаше».

В весьма меланхолической сказке «О чиже, который лгал, и о дятле, любителе истины» чиж зовет к идеалу, вдохновляя птиц призраком прекрасной земли, что находится там, за рощей. Однако сам писатель вынужден с горечью признать, что все «упрямые вещи»: факты, логика вещей — опровергают идеи чижа и вытесняют их в сферу «нас возвышающего обмана»; зато позиция дятла логически безупречна, оккупирует область правды, истины.

«Я солгал, — вынужден признаться чиж, — да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо!.. Я же только и хотел пробудить веру и надежду, — и вот почему я солгал... Он, дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья» (1, 131).

Позиция же дятла, напротив, очень прочна и основательна: «Я питаюсь червяками и люблю истину, которой неуклонно служу и которая понуждает меня сказать вам, что вас нагло обманывают. Все эти песни и фразы, слышанные вами здесь, милостивые государи, не более как бесстыдная ложь, что я и буду иметь честь доказать вам с фактами в руках... с фактами в руках, милостивые государи! А спросите господина Чижа, где те факты, которыми он мог бы подтвердить то, что сказал?» (1, 129—130). Здесь и далее слова в цитатах выделены мной. — Г.Г.).

Тем не менее, человек не может смириться с этой «правдой» и поет славу «безумству храбрых». Но почему же безумству? Отчего ум должен оставаться на стороне Чижа, а Соколу выпадает удел слыть глупым и чудаком? Не таится ли какой-то «подвох» в самом сложившемся у людей понимании ума и истины?

Не только в начале своего писательского пути, но и в конце Горький поднимает эту же проблему. В «Заметках читателя» он рассказывает, как его поразила одна мысль из восточной «Книги мудрости и лжи»: «Прочитал я ее с наслаждением, и вот самое мудрое, что нашел в ней:

“Визирь рассказал царю о рае, и много врал, преувеличивая действительную красоту его” (курсив М. Горького).

Представляю все, что могут сказать люди здравого смысла о визире и как они ловко обратят выписанную мной цитату против меня, против этой статьи! А все-таки восхищает меня мудрая дерзость визиря, преувеличивающего “действительную” красоту несуществующего!» (24, 284).

Конечно, все это намерение прекрасно и благородно, но само признание, что все-таки приходится «преувеличивать», что сама жизнь и люди не имеют в себе на самом деле такой красоты, которую писатель изливает на них, — это наше мнение звучит весьма оскорбительно для жизни и обидно для людей, ибо косвенно

выражает как раз недоверие живой жизни и богатству человека, — и большую веру в идеальные построения субъективного сознания. И главное: это противоречит всему тому, что Горький утверждает своими картинами жизни и описаниями людей: в них-то он непрерывно жалуется на слово, что оно не дает ему возможности передать действительное, пестрое богатство людей. Сам критерий красоты человека и жизни, по Горькому, — не в том, что человек — хороший, а в том, что он — пестро богатый, полный таких неожиданных свойств, перед которыми только ахнуть и развести руками может логика здравого смысла и ее плоское представление о том, какая жизнь — хороша и какой человек — прекрасен.

Вот что сам Горький пишет К. Федину в связи с Егором Булычовым, когда ему слали упреки в идеализации и надуманном усложнении характера русского купца: «Иногда я воображаю, что мне удалось сказать кое-что значительное о людях этого ряда, но, сопоставляя сказанное с тем, что мне известно, — впадаю в уныние, ибо знаю много, а умею — мало. Да и трудно рассказать в приемлемых формах, например, о купце (Ал/ексан/дре Петр/овиче) Большакове...» Следует великолепный набросок характера купца, строителя и старости храма, который, умирая, ведет следующую душеспасительную беседу с попом: «Верно, что я развратник и сволочь?» Поп утвердил: «Таков общий глас народа». — «А — простит меня господь?» — «Покайтесь искренне — простит, ибо он многомилостив». — «Простит? Так ты ему... скажи, что ежели бы я, Лександр Большаков, тоже каким-нибудь турецким или мордовским богом был, я б ему... морду и бороду вырвал за милости его, так его мать и эдак! Милостив, — так его и эдак — ни в чем запрета не полагает, какой он — бог?»

Выгнав попа матерщиной, он приказал жене и дочери-полуидиотке снять и вынести из горницы все образа и на другой день, во время поздней обедни, умер, почти до последнего дыхания творя сугубую матершину». И вот, в связи с характером этого купца, заключает он очень многозначительными для нас словами: «Видите, какая штука? Васька Буслаев — не выдумка, а одно из величайших и, может быть, самое значительное художественное обобщение в нашем фольклоре» (18, 416).

И вот оно, противоречие: с одной стороны, Горький признается в своем намерении приукрасить жизнь и людей, а с другой стороны, признается, что сама жизнь и характеры русских людей так сказочно богаты, сложны и прекрасны, что посрамляют всякие выдумки и идеалы: в их распоряжении нет той палитры

красок, чтобы даже воспроизвести, запечатлеть буйную и радостную красоту жизни — где уж ее приукрашивать!

Итак (мы не устаем уточнять постановку проблемы, ибо она для Горького и понимания характера его реализма — самая важная и сложная и не до конца им самим осознанная и решенная), Горький всем существом ощущает (а не только верит), видит вокруг себя, знает праздничную красоту реальной жизни, захватывающее, дивное богатство людских характеров, душ, судеб, которые настолько полно реализуют в себе сущность и призвание Человека, что сам наш идеал, представление об идеальном Человеке именно на основе и из свойств этого бесконечно прекрасного реального человека складывается, да и то оставаясь еще бледным снимком с него, — но как только писатель пытается поднять это в сознание, оформить в слове и передать людям, — в ходе этой процедуры совершается какое-то таинственное сальто-мортале, и из уст его исходят мысли и слова, в которых все это предстает не как реальное, а как желаемое: не то, что он знает, а то, во что он лишь верит (точнее: хочет верить, но знает, что это — не так), т.е. то прекрасное, что он лишь хочет, чтобы оно появилось в скучной жизни среди плохоньких и сереньких людей.

Словом, имя всему этому — прекрасная ложь, и сам он, прижатый к стенке и уличаемый своим же рассудком, вынужден, запинаясь, оправдываться, как перед следователем, — заявляя, что преступление правил логики совершилось им без злого умысла, — напротив: с самыми похвальными намерениями: чтобы, услышав о себе хорошее, люди поверили в это и в реальности стали лучше, — т.е. с утопической программой нравственного совершенствования людей. Но такого рода любовь к людям и такой путь их спасения повинны в том же грехе презрения к ним и унижающей их жалости, в каком повинен горьковский Данко. И опять же вся загвоздка в том, что реальный Горький и его художественное сознание в этом грехе нисколько не повинны, — но его отвлеченные рассуждения, афоризмы часто дают основания так думать о его позиции.

Логика отчуждения

Вина здесь не в Горьком, а в объективно к его времени сложившемся отчужденном характере логики отвлеченного мышления. Потребности и связи все более отделяющейся от человека жизни — стали основой так называвшей себя объективной логики вещей (как точно это выражение!), освободившейся от человеческого содержания. Вот почему и обратно: правда о Человеке не могла выражаться языком «логики

вещей» и «фактов» — и, вступая на эту платформу, тут же была битой и выглядела жалкой, как чиж в единоборстве с дятлом¹.

Логика вещей исходит из такого положения дел в мире, которое называют отчуждением. Само по себе оно ни хорошо, ни плохо. Когда создается какая-нибудь вещь: дом, стихотворение, — сначала внутри человека, в его сознании возникает замысел, а потом в ходе труда его идея выходит вовне, остается в материале. «Отчуждение» по происхождению — термин немецкой мысли: *Entäusserung* — означает буквально: «овнешнение». Готовая вещь, созданная человеком, есть частица его «я», но находящаяся не внутри него, а отдельно, уже чужая ему, обретающая самостоятельную жизнь предмета. Предметы, вещи, мысли, законы — все они из сущности человека родились. Но если она — беспокойная, и не известно, что еще выдумает и сотворит, а потому — трудно уловимая, — то созданные человеком вещи, кажется, прочны, неизменны, подпускают к себе легко и соблазняют на легкий путь познания человека. Хочешь узнать, что такое этот человек? Посмотри, возле каких вещей находится его место. Они дают ему определение. Лука, например, как не привязанный ни к какому месту и цели, есть с этой точки зрения никто, пустой человек, а вот полицейский Медведев уже заполнен общественным содержанием, есть — кто-то. В последнем действии Бубнов доказывает ему, что он, потерявший место и предметы, уже тоже никто: «Бубнов. Ты, брат, теперь тю-тю! Ты уж не бутошник... конечно! И не бутошник, и не дядя... Алешка. А просто — теткин муж! Бубнов. Одна твоя племянница — в тюрьме, другая — помирает... Медведев (гордо). Врешь! Она — не помирает: она у меня без вести пропала! (Человек еще цепляется за формулу «логики вещей»: «без вести пропала» — может, она что-нибудь еще да значит и делает его все-таки «дядей». Это — как самоудостоверение личности, вроде фразы: «Мой организм отравлен алкоголем», которая делает для Актера еще достоверным его существование на белом свете²). Бубнов. Все равно, брат! Человек без племянниц — не дядя!»

Итак, любое определение — от другого исходит и зависимость от него выражает: «дядя» — зависит от существования «племянниц», «бутошник» — от будки. Вот этот человек — из деревни, женат, курит «Беломор», смотрит телевизор, на конвейере закручивает гайки левого переднего колеса автомобиля, — значит,

¹ Вообще Горькому не нужно было объяснять — вот его ошибка: все уже сказано художественным образом, и когда он начинал рассуждать по поводу, он парализовывал силу образа и извлекал оттуда узкие и потому ложные идеи — и в итоге терпел крах от «логики вещей».

² Здесь и далее слова в скобках внутри цитат, не выделенные курсивом, — Г. Гачева (ред.).

и сущность его — деревенско-«беломоро»-левогаечная... Улавливается ли этими определениями «я» человека? Конечно, когда скульптор создает статую от начала до конца сам, то по образу, выступившему благодаря личности ваятеля из глыбы мрамора, можно судить о душе творца. Подобный же, индивидуальный характер носил и труд мастера, ремесленника: создавал он за жизнь вещей немного и вкладывал в них пластины своей души. Тогда по вещи можно было судить о человеке. Но в современном производстве, которое превращает человека в робота, нет необходимой связи между вещью, создаваемой и потребляемой человеком (той же гайкой или телевизором), и его характером. Истина вещи истина человека расходятся. Между тем, на таком положении дел возник и выработался в стройную систему аппарат логики, который дает человеку определение по вещи, предмету и результат такого определения называет правдой — правдой факта, действительности. Тот же остаток человеческой сущности, каковой сюда не укладывается, объявляется как раз несущественным, случайным, ложью, призраком, химерой. Железная логика, которая до сих пор казалась лишь дружественной человеку — ибо открывала тайны жизни и защищала человека от природы, теперь пошла войной на самого создателя своего — так же, как и железо военной техники, — и от защитника своего стало надо защищаться. Все, даже прекрасные вещи, создаваемые трудом человека, противостояли как чуждая ему сила, сламывающая его душу и волю к счастью. Вот почему на первых порах, когда на рубеже XIX—XX веков и в творчестве Горького лишь начал формироваться язык для возвещения новой логики гуманизма — не логики вещей, а логики Человека (где за систему отсчета принимались не вещи и их соотношения, и внутри них — место человека, но за исходное основание принимался Человек — и все тяготело к нему), — художник еще не дерзает вступить на почву «фактов», ибо последние, кажется, — состоят в полной зависимости у существующего; и откровенно творит вымышленный мир прекрасной легенды, где люди живут и действуют из себя, определяясь своей волей и мечтой, а не волею обстоятельств («Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и т.д.).

Но постепенно, накопив силы, это новое мироощущение и его логика вступают в богатырское единоборство с «логикой вещей» в «На дне» — этом, быть может, самом могучем создании горьковского гения.

Тот революционный шаг в логике мышления, на который здесь отважился Горький, состоял в том, что он прямо связал, перекинул мост между понятиями «человек» и «правда» (истина). В монологах Сатина, завершающих прения о правде и человеке, эта мысль формулируется четко: «Человек — вот правда... Существует только человек, все же остальное (в том числе и

правда. — Г.Г) — дело его рук и его мозга». Таким образом, человеческое существование становится критерием истины.

Но ведь до сих пор все развитие общества, разума, сознания непрерывно шло по пути создания предметной действительности, а уж из нее извлекалась объективная истина, не зависимая от воли, желаний, мечтаний, — т.е. от субъективного, всегда зыбкого и шаткого внутреннего мира человека. Эта господствующая в мире «система отсчета» отношений правды и человека — есть исходная в «На дне». И все идеологическое развитие пьесы идет по пути ее размывания. Лука, как Сократ в диалогах Платона, сталкивает понятия о правде, ценностях и человеке, размалывая представление о единой правде, существующей вне человека, и вообще ставит под сомнение ценность правды, выдвигая на первый план абсолютную ценность каждого отдельного человека, его существования, которое несет в себе свою, особую, неповторимую правду. Эту индивидуальную правду Лука всячески выявляет в окружающих.

Но рассмотрим все по порядку. «Человек — вот правда». Мы так привыкли к этим словам, данным в лапидарной афористической форме, что часто не отаем себе отчета о том, что это не просто красиво оформленное слово о человеке, возвышающее его, — но фундаментальное основание целой философии. (В этом непонимании повинна сама звонкая и звучная, как кимвал бряцающий, форма афоризма: она настолько предметна и тверда, что словно сама по себе обладает смыслом. Это-то и мешает проникнуть в содержание чистой мысли, высказанной в этих словах.)

Так что же утверждается этим положением? А не больше не меньше, как то, что правда (логика, «точные», доказанные фактами истины) — не обладает самостоятельным существованием, что она на что-то опирается, т.е. в жизни есть нечто более глубокое и существенное, чем правда, — и до этого основания нужно доискаться, чтобы обрести критерий для различия правды и лжи (для логики мышления, добывающей истину).

В «На дне» Горький и пытается уяснить и себе, и людям, как рождается правда? В продолжающемся в горьковском творчестве споре Чиж и Дятла такая постановка вопроса явила неожиданным и ошеломительным ударом по логике Дятла — ударом, который, уж конечно, не Чижом мог быть нанесен. Вопрос заострен до предела: раз интерес Человека не находит себе выражения на языке логики фактов, то, следовательно, на этом языке говорит чей-то другой интерес. Если Дятел упрекал Чига за то, что его речи о счастье и красоте — не истинны, ибо не бескорыстны, — и Чиж вынужден был, на основании этого, признать себя побежденным, — то теперь задается вопрос: а так ли уж бескорыстна сама обвинительница — логика фактов? Не

говорит ли ее устами какое-то другое, враждебное человеку начало?

Сама постановка вопроса о том, что у мышления, истин и «фактов» есть фундамент, сразу сбивала спесь с царства самоудовлетворенной логики, ибо решительно заявляла о том, что нестина существует, с которой должно человечество и люди сверяться и искать ее, — но человечество в своей жизни само творит и свергает истины, подобно тому, как оно творит и свергает все «факты», всех богов и все ценности. Следовательно, человечество, его история и его бытие на данном этапе есть абсолютное первоначало, которое опосредует каждую «правду» и «факт», и критерий всех ценностей, истин и целей в нем.

Вот почему полную правду можно получить не в прении самих мыслей, а в столкновении мыслей (правд), просвещенных, тут же сопоставляемых с реальным существованием вообще и высказывающих их людей в особенности: «Не в слове — дело, а — почему слово говорится», — говорит Лука Бубнову и Барону, смеющимся над рассказом Насти о любви к ней Рауля. С этой точки зрения большей реальностью обладает не «факт» — была эта любовь у Насти «на самом деле» или она вычитана ею в книжке «Роковая любовь», — а внутренняя потребность Насти в такой любви, которая может сбыться, а может и не сбыться (это — сфера случайного, «обстоятельств»), не стать «фактом». Сама эта внутренняя потребность есть более твердое и характерное для Насти, — и она, а не свершение, «дело», должны быть основанием для суждения о ней, о том что она такое. Но поскольку эта потребность не отделилась от Насти и не вылилась в какой-то факт ее жизни, видимый для всех окружающих, — то свидетелей этой ее сущности нет, доказать ее нельзя. А так как правдой (истиной) привыкли считать лишь доказуемое, то есть то, что имеет предметное существование отдельно от человека, — то и получается абсолютное расхождение правды о Насте и самой Насти, так что «правда» (Настя — есть проститутка, фантазерка и т.д.) абсолютно не улавливает ее истинной сути. Выходит, суждение о человеке нельзя проверить и не надо проверять (проконтролировать): так ли это на самом деле, ибо эта позиция исходит из подозрения к человеку и ищет факта вне человека: не видя в человеке главного и величайшего факта, — а надо верить человеку, тому, что он говорит. Следовательно, реальным существованием обладает лишь человек, как бесконечный потенциал фактов, поступков, дел, мыслей; а все, что от него отделяется, есть частичное и часто ложное его осуществление. Факт (мысль) может быть понят лишь в сращении с человеком, его «автором». Это сращение — и есть правда. Потому «верить» и «знать» у Горького в «На дне» подчеркнуто отождествляются: Лука — «Я — знаю... Я верю!».

«Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга» (Сатин). — Вот второе основоположение исповедуемой Горьким в «На дне» философии. Следовательно, если правда, объективная истина на что-то опирается более глубокое, чем она сама, то, по Горькому, этой опорой является Человек — и лишь ему присущ основной атрибут — существования. Лишь человек обладает реальным бытием.

Но ведь это положение абсолютно противоречит действительности. К XX веку все развитие человечества и состояло в том, что оно непрерывно возводило вокруг себя «дела рук своих и мозга», так что в конце концов они словно зажили самостоятельной жизнью, а человек стал их функцией («Бубнов. Люди все живут... как щепки по реке плывут... строят дом..., а щепки — прочь...»). Следовательно, объективной истиной является обратное утверждение: существуют лишь «дела», а для них существует человек, точнее — его мозг и руки (ибо они лишь нужны, полезны), ибо остальное в человеке не обладает общественно достоверным существованием. Но раз в человеке ценятся лишь мозг и руки, то прав Васька Пепел: «Ежели людей по работе ценить... тогда лошадь лучше всякого человека... возит и — молчит!» А еще лучше человека (= его рук и мозга) — машина, кибернетическая в том числе.

Человек оказывается лишним, выкинут на дно, в осадок бытия (или, может быть, «дно» следует понимать как глубинную его основу, где лишь и выявляется сущность?). «Бубнов (спокойно). Ты везде лишняя... — говорит он Насте. — Да и все люди на земле — лишние...»

Итак, «логика вещей» рассматривает человека в ракурсе вещей, их принимая за фундаментальное основание, — а не вещи — в ракурсе Человека.

Но чем же это плохо? Разве это не прекрасно, что в ходе развития общества и разума создавалась такая предметная действительность, которая имеет свою жизненность и закономерность, независимую от жизни и смерти человека? Его век недолог, а это — прочно, длительно. Разве не прекрасно, что на ее основе человеческая мысль может извлекать из бытия истины, независимые от воли человека? Разве не прекрасно, что и о том, что есть человек, можно узнать не по его сбивчивым о себе представлениям, но по его месту и делам в мире вещей и законов? На этой основе и могла бы складываться правда о человеке. (Вдумайтесь в это выражение и сопоставьте его с выражением: «Человек — есть правда». Значит, истина имеет более незыблемое существование, чем человек: он смертен, «относителен», а она, опирающаяся на отношения вещей, — более прочна, «абсолютна».)

И вот как глаголет эта объективная, «железная» логика вещей и какие правды извлекаются ее способом в пьесе «На дне»: «Костылев <...> Неудобство, видно, имеешь на одном-то месте

жить? Лука. Под лежач камень — сказано — и вода не течет... Костылев. То — камень. А человек должен на одном месте жить...»

Вот с научной точностью определена разница в нынешнем положении вещей и человека: «камень», т.е. предметный мир, выстроенный людьми между прочим из камней, — обладает самодвижением, чуть ли не свободой воли: для него-то действительной оказывается пословица: «Под лежач камень и вода не течет», — созданная первоначально для человека, чтобы выразить его свойство двигаться, хотеть, проявлять волю и т.д. Теперь же, напротив, камень принял некогдашнее свойство человека, а человек — свойства камня: должен выполнять его волю, а для этого должен быть в удобном для камня положении — всегда на нужном месте, чтобы, когда господин пожелает его взять, — он нашел бы его как инструмент, на прежней полочке.

«Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили... Куда кто хочет — туда и ползет... Человек должен определить себя к месту... а не путаться зря по земле...» Если раньше вещи лежали на земле «зря», пока человек не придал им место и форму, — то теперь человек, оказывается, существует «зря» и вынужден, как виноватый, непрерывно оправдываться перед вещным миром, что и от его (человека) существования есть польза. «Лука. А если которому — везде место? Костылев. Стало быть, он — бродяга... бесполезный человек...»

Итак, «человек должен определять себя к месту». Тем самым место служит определением для человека, место красит человека. И на вопрос: что такое этот человек? — «логика вещей» дает точное, основанное на «фактах» (месте) знание: то-то и то-то. Мы-то, например, бьемся и гадаем, что такое Сатин, воспевший гимн Человеку, каков его характер, духовный мир и т.д. А вот верящий в порядок и закон («Надо жить честна!») Татарин, оказывается, точно знает, что такое Сатин. «Татарин (Сатину). Мешай карта! Хорошо мешай! Знаем мы какой-такой ты...», — имея в виду точное определение: «Человек Сатин есть шулер».

А что значит это знание, из чего оно складывается? Вот система определений, которыми Василиса хочет сделать для себя познанным, известным нового человека Луку:

Первый ход — название, определение: что (кто):

«Василиса. Ты кто такой?.. Лука. Проходящий... странствующий... Василиса. Ночуешь или жить? (Это второй ход — цель /связь с будущим/). Лука. Погляжу там».

Третий ход — обоснование другим, т.е. доказательство (явление — под подозрением: нужно выявить связь с окружающим). «Василиса. Пачпорт! Лука. Можно... Василиса. Давай! Лука. Я тебе принесу... на квартиру тебе приволоку его!..»

Четвертый ход — вывод. «*Василиса*. Прохожий... тоже! Говорил бы — проходимец... все ближе к правде-то... Лука (вздохнув). Ах, и не ласкова ты, мать...»

В разговоре Василисы с Лукой познание нового человека есть цель: его хотят сделать известным, т.е. ревниво ликвидировать его новизну и превратить в старое. Соответственно, отношения сразу неравноправны и принуждены: один — субъект, другой — объект; один — активен, другой — пассивен; один — следователь, другой — подсудимый; один подозревает, другой оправдывается и т.д., то есть ни тот, ни другой не в своем естественном состоянии, настроении и облике находятся, а — в искаженном.

Василиса задает вопросы и вроде интересуется, кто этот человек сам по себе. Но ведь уже сама форма вопроса предполагает определенный ответ: т.е. не дает новому проявить себя в своей, может быть, мне не известной форме, а опосредует его моим представлением и целью. Ибо моя цель (и ее отражение — вопрос) — формируется до истинного знания об этом человеке, исходит из предвзятого интереса, который и полагает себя в основу знания нового: т.е. именно не позволяет новому проявиться, а подставляет вместо него старое.

И в самом деле, почему Василису не удовлетворяет ответ Луки на каждый ее вопрос: он ей кажется уклончивым, попросту — ложью, ей кажется, что старик «врет»? Потому что он каждым ответом не на вопрос отвечает: то есть дает не известную ей уже форму знания о человеке (исходя из которой сам-то вопрос и формулировался), а сбивает в сторону:

«Кто?» — вместо точного ответа: «слесарь», «вор», «учитель» и т.д. — два взаимно уточняющих слова, в которых смысл расплывается: «Проходящий... странствующий», — ибо и самому Луке трудно сказать: кто он такой. В этом смысле человек никогда себя не знает.

Далее, вместо точного, заранее, знания цели: «Ночуешь или жить?» — незнание: «Погляжу там». — Человек полагает что-то неизвестным. А это тревожит, дразнит логику, ибо знание, правда ревниво не допускает, чтобы что-то ускользало из-под нее, — хочет сразу всю правду. Если же допустить, что ее дать сразу нельзя, — тогда, следовательно, придется дать свободу явлению, а человеку — волю хотеть и жить из себя, а не из заранее положенного обстоятельства и места.

Отчаявшись получить знание из прямого опыта, общения с человеком, т.е. в общем, не веря и человеку, и самой себе, Василиса обращается за помощью к предшествующей работе логики вещей над человеком: к удостоверению, объяснению и знанию человека исходя из места рождения, жительства, работы. Удостоверение — какой термин! Сам человек — не достоверен: его еще нужно удостоверить бумагой. Документ есть объективная, отдельно от человека живущая истина о нем,

нужная потому, что человеку (тому, что он может о себе сказать) и своему представлению о нем — заранее не верят. Система вопросов документа — есть все необходимое и достаточное для общества знание о человеке, где все в нем выразимо в одинаковой для всех системе координат. И когда Лука увиливает, отвечая и на вопрос о «пачпорте», Василиса, наконец, уже может вынести точное определение, знание, правду о старице, которую он было пытался замаскировать ответами не на вопрос: «Прохожий... тоже! Говорил бы, проходимец, все ближе к правде-то...»

Итак, столкнувшись с новым, неизвестным, логика вещей хочет установить его не как оно есть по своей мерке и правде (таковых оно не допускает) — но по отношению к себе (своим вещам). Все расспросы Василисы имеют целью выяснить: заплатит ли стариц и сколько и не будет ли из-за него скандала — той самой «канители», которую может вызвать неожиданное изменение человека, например смерть. Так, полицейский Медведев по-своему понимает ту мысль Луки, что о человеке надо заботиться, радеть, следить, как бы с ним чего не случилось:

«Лука: Ты вот — смеешься... — говорит он Квашне об умирающей Анне, — а разве можно человека эдак бросать? Он — каков ни есть — а всегда своей цены стоит... Медведев. Надзор нужен! Вдруг — умрет? Канитель будет из этого... Следить надо!»

Такая правда ничего больше знать о человеке и не хочет, она и не допускает, что он может заключать в себе какое-то новое, не предполагавшееся ею содержание и знание. Логика вещей не предполагает в человеке Х, неизвестного, а полагает знание о нем исчерпанным, коль скоро его существование перелито в форму вещей (мест) и ими просвещено. Эта логика постоянно заинтересована в правде, то есть в точном прилегании человека к месту (соответствии ответа — вопросу), и всякий сдвиг (смех, например) — для нее тревожен. «Врать нельзя, брат...» — строго говорит полицейский Медведев Бубнову. Тут же он указывает и на другого врага порядка и логики вещей: «Какой народ стал... надо всем смеется...»

Итак, закономерность знания о человеке, добываемого логикой вещей, можно сформулировать пословицей: «Что дал — то и взял», т.е. просветил человека своей корыстной целью, положил ему в вопросах систему своих представлений, — ее же и получил назад, а не содержание самого человека.

А теперь пусть читатель вспомнит или перечитает сцену появления Луки в ночлежке. Здесь тоже протекает взаимное знакомство — т.е. добывается знание людей друг о друге. Но здесь оно как-то дается даром, без усилий, незаметно — в людях сразу открывается то, что никакими хитроумнейшими вопросами из них бы не добыла логика вещей. Отчего же так? Да оттого, что знание не выступает целью: жители ночлежки и новый

постоялец не становится в отношения субъекта и объекта познания, а продолжают просто жить (т.е. всесторонне, непринужденно самопроявляться) своим чередом. Пепел то заговаривает с Наташей, то жалуется Бубнову на скуку; Клещ мастерит; Лука устраивается на постой, поет себе и т.д. В акте познания: «Лука — жители ночлежки» нет корыстного интереса и цели: отношения людей выведены, выключены из отношения вещей и логики вещей; они не мешают друг другу (в общем-то им даже наплевать друг на друга). Но именно поэтому здесь человек среди людей — как наедине с самим собой, раскрывается по своей собственной мере. Так, Лука бросает приветствие в форме поговорки («Доброго здоровья, народ честной!») — и сразу получает не подозрительно вопрошающее: «А ты кто такой, чтобы вмешиваться?» (как на его реплики реагируют Медведев, Василиса и Костылев), — а такое же, в тоне балагурства выдержанное, сообщение («Был честной, да позапрошлой весной»).

Вообще, уже это примечательно, что они не задают друг другу вопросы, а сразу, с ходу, — говорят, продолжают свою же беседу, только уже с новым собеседником. При этом те определения (знание, правда) человека по месту, которых как цели знания домогалась Василиса, — здесь даются сразу безо всяких усилий мысли (вопросов), а на основе простой чувственной достоверности — видимости, очевидности. Ночлежники видят, что перед ними: 1. Старик; 2. Странник (котомка, чайник у пояса); 3. Новый постоялец. Лука же видит, что перед ним — «жулики».

Но эти определения — лишь исходный и пустой момент познания; они тут же размыкаются в более широкие, конкретные и содержательные: Лука говорит, что и жулики — люди. И говорит он не так, как Василиса: пусто и уклончиво, — а в присущей его индивидуальности форме: пословиц, прибауток, т.е. он сразу самораскрывается, так что Васька Пепел уже приходит к содержательному знанию и о самом Луке: «Какого занятного старичишку-то привели вы, Наташа...»

Если правда Василисы о Луке могла состояться лишь поскольку удалось загнать его в известную ей формулу: «проходимец», — то здесь правда, знание о Луке и о ночлежниках — есть саморасширяющийся процесс их взаимной жизни, как неизвестное следствие тех отношений человека к «человекам», которые устанавливаются и текут в ночлежке. Правда, выходит, — следствие человека. (Вспомним: «Человек — вот правда!») При этом из каждой ситуации, каждого поворота этих контактов возникает знание не только об этом человеке, но и о человеке вообще. Лука поет, Васька говорит ему: «Не пой» — и устами Луки тут же выражается новая истина о человеке вообще: «Ишь ты! А я думал — хорошо пою. Вот всегда так выходит: человек-то думает про себя — хорошо я делаю. Хвать — а люди не довольны...»

В освоении же Луки Василисой было обратное течение мышления: предполагалось точное знание жизни и человека вообще, и, исходя из этого знания, привычными кнутами = рубриками вопросов — единичный человек загонялся на «свое место». Человек выступал как следствие правды, как произведение самодействующей, вне его живущей, правды — следовательно, объявившей его потенциальной, заведомой ложью, так что он все время — под подозрением находится (на нем словно лежит библейский первородный грех).

Живя вне человека, правда эта снисходительно приобщает его к себе только системой вопросов, на которые он должен не лгать, ибо лгать, следовательно, ему присуще, — таково просто его положение во враждебном мире вещей и их логики. «Бубнов. И чего это... человек врать так любит. Всегда — как перед следователем стоит, право». Вот-вот. Мир отчуждения со своей «объективной» правдой, логикой вещей есть непрерывный суд, «процесс» над человеком — и все, что человек есть, собой представляет, — есть «процесс»: он и имя человеку дает, и суть его жизни — все, чем он известен людям. Без него человек — ничто (ср. «Процесс» Кафки).

Потому, с другой стороны, и покинутый правдой человек, не веря себе, мечется, ищет ее, смысл жизни в мире вокруг себя и вопиет, вопрошают: где правда? «Клещ (вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит). Какая — правда? Где — правда? (Треплет руками лохмотья на себе.) Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — правда! Пристанища... пристанища нету!» Клещ здесь совершенно точно перечислил те признаки, по которым строится правда о нем: он словно дает себе свидетельство о благосостоянии («лохмотья»), свидетельство о месте работы («работы нет»), справку о месте жительства («пристанища нету») — и по всем статьям выходит, что он — обладает нулевым существованием. «Издыхать надо... вот она, правда! Дьявол! На... на что мне она — правда?» Вопрос совершенно законный, ибо сама правда ему сказала: на что ты мне? Катись ко всем чертям! («Дьявол!» — зовет Клещ). «Дай вздохнуть... вздохнуть дай! Чем я виноват?.. за что мне — правду? (т.е. правду — как приговор, кару за вину). Жить — дьявол — жить нельзя... вот она — правда!..»

Итак, обесчеловеченные связи людей в обществе привели к тому, что Человек и «правда» встали в остро враждебные отношения друг к другу. «Логика вещей» видит в этом слабость и трусость человека — смотреть «правде», «фактам» прямо в глаза. (Вспомним размышления Ужа после смерти Сокола.) Но человек в этом прозревает лживость, мнимость самой этой «правды», пустоту и бессодержательность «истин», добываемых якобы точной, объективной, от человека не зависящей логикой вещей. То есть она (эта логика) продолжает что-то мыслить, бормотать, но все более «не о том», в призрачном и са-

могипнотизирующем мире своих построений (как бредовые выкладки и логичные построения и расчеты щедринского Иудушки в фантастических мыслительных оргиях выморочного бытия, в которых он строит силлогизмы: если у всех перемрут коровы, а у меня нет, то я продам втридорога, и т.д.).

Притча о Праведной земле

Но во всех наших рассуждениях до сих пор оставался в тени один вопрос. Допустим, что «логика вещей», которой пользуются в отношениях друг с другом люди в мире отчужденного бытия, — действительно такова, как это сказалось в структуре мысли Василисы, Костылева, Медведева и т.д. Но на каком-таком основании мы позволяем себе смешивать, отождествлять с ней логику отвлеченного теоретического мышления? Ведь с ее-то помощью мы добываем чистые объективные истины, опирающиеся не просто на факты — отношения вещей, но на факты проверенные, доказанные, когда они становятся «упрямой вещью» (то есть, опять, тоже — вещью: это сознание никак не перепрыгнет через фетишизм вещей, и вещь есть в ее представлении самое прочное и твердое, что существует, — эталон крепости бытия).

Каково содержание этих объективных научных истин и каким ходом сознания их добывают, — рассматривается в притче Луки о «праведной земле».

«Лука. <...> Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил... *Бубнов*. Во что-о? *Лука*. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле, — особые люди населяют... хорошие люди! Друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают... и все собираются идти... праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо... и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай (как, примерно, Клещу, от «правды»), — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: «Ничего! потерплю! Еще несколько — пожду... а потом — брошу всю эту жизнь (т.е. не то, что землю свою, место, родину, — а именно образ жизни, который есть не географическое, а общественно-человеческое явление) и — уйду в праведную землю...» Значит, в другой, «праведный», радостный образ жизни людей в обществе, другую общественную организацию людей¹, — которую он, крестьянин, по выработанному логикой вещей,

¹ Как в поэме А. Твардовского герой отправляется на поиски счастливой жизни, которую он представляет себе как Страну Муравию — землю обетованную. То есть общественное движение во времени (двигающее человека к счастливой жизни) предстает как индивидуальное движение в пространстве.

среди которых он живет, автоматическому ходу сознания, — обозначал опять же в форме пространства: по месту, относил просто к другой территории — земле, подобно тому, как и мы до сих пор названия наций, стран, целых сложнейших общественно-природных организмов обозначаем по земле: Deutschland, Angleterre и т.д. «Одна у него радость была — земля эта...» (т.е. она была его идеалом — формой его сущности, его истинного, а не внешепаспортного бытия. Земля эта была е г о правдой, им самим. Они вели единое, срашенное существование).

«Пепел. Ну? Пшел? Бубнов. Куда? Хо-хо! Лука. И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали ссыльного, ученого... с книгами, с планами-то он, ученый-то, и со всякими штуками... (Видно — даже интеллигент-революционер, борец за народное дело, ходивший, вероятно, в народ, чтобы учить его уму-разуму и просвещать.) Человек и говорит ученому (хорошо, между прочим, даже в этом обозначении выражена разница между ними, их бытием и их логикой, следовательно: об одном ничего нельзя больше сказать, как просто — "человек", а другой — уже «ученый»: т.е. неизвестно: больше или меньше, выше ли, чем "человек", но, во всяком случае, уже нечто — другое, имеющее свой, не человеческий круг интересов и "вопросов", — живущее в другом измерении, чем "человек"): «Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?».

Верит человек в логику и разум и наивно полагает, что ее (логики) истины — человеческие, для человеческого бытия созданные, а не для самодвижения вещей и для самоудовлетворения стройностью своих собственных построений. Он, «человек», конечно, не настолько еще «учен», чтобы отдать себе отчет в том, что он спрашивает одно (дорогу в другую землю), а имеет в виду другое («путь» к другой жизни). Но ученый-то уже настолько учен, чтобы не понимать человека и человеческое содержание в «научно-логическом» вопросе, как ни примитивно он здесь сформулирован. И сознание его, ученого, действует по той же самой автоматической логике, которую мы проанализировали в опросе Василисой Луки. Там формулировка вопроса уже предполагала определенный ответ в своем же измерении, и логика вещей терялась, когда Лука переносил ответ в иное — человеческое измерение. То же самое, но в обратном направлении, происходит сейчас. Здесь человек задает вопрос в системе отсчета «Человек», а ученый понимает его уже в системе отсчета: «Наука», «Объективная логика». По логике этой системы формулировка вопроса есть подстановка под ответ, уже дает его: и раз человек спрашивает о земле (логика ведь исходит не от содержания, скрытого за словами, — как исходит Лука: «Не слово важно, а по ч е м у слово говорится», — но из т о ч н о г о смысла, значения слов) — то ученый и вопрошают науку, ведающую землей как территорией, — географию.

«Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел — нет нигде праведной земли!» То есть он ищет ответа, уже содержавшегося в вопросе: человек спросил о праведной земле — и ученый ищет на карте называния «Праведная земля» — значит, преследует не добычу истины, а лишь сверяет новый факт со старой истиной. Ученый не пытается усилием своей мысли выявить скрытое под вопросом человеческое содержание, приспособить к нему щупальца своей логики (и тем самым обновить ее). Ученый действует, как запрограммированная кибернетическая машина, которая может дать ответ лишь в своей программе, по своему ведомству, если и вопрос просигнализирован кодом этого ведомства, — и не может по своему почину разобрать ошибку, путаницу в сигнале, коде. Переносное значение сигнала ему не понятно.

«Все верно, все земли показаны, а праведной — нет!.. Пепел (негромко). Ну? Нету? (Бубнов хохочет). Наташа. Погоди ты... ну, дедушка? Лука. Человек — не верит...»

Что это такое? Оказывается, недостаточно ни веских фактов, ни истин, ни логики доказательств: нужно еще, чтобы человек в них поверил, дал бы им свою веру, а без нее все эти факты и правды — дым. То есть доверие для знания и логики стоит как высший предел их стремлений, потолок, которого они всеми силами, в том числе и хитроумными сплетениями доказательств, — пытаются достигнуть: истогнуть из человека его «я» и взять его себе.

Итак, знанию нужно в конце концов добиться, чтобы человек все же поверил доказательствам. Пока знание нанизывает их, они, кажется, держатся сами собой, своей «логикой», — но как только предстают перед высшего судию — доверие, — тотчас обнаруживается, что искусственно создавшийся стержень, на который они нанизывались и держались, — именно нужен был как эрзац доверия, и если оно (доверие) есть, — его и не нужно. Ведь логика вещей и ее знание — как и общество отчуждения — вертятся в царстве взаимной подозрительности: они не верят в разумность и себя, и всех вещей, и занимаются непрерывным контролем (исследовательской работой).

Чего же конкретно хочет логика, правда, добиваясь, чтобы человек в нее поверил? Того, чтобы он слил их не с разумом своим, логикой (которые у него предполагаются одинаковыми со всеми) — но соединил бы с этой правдой, системой доказательств, все свое индивидуальное существо — «я» — так, чтобы они (эти истины) срослись с ним, т.е. стали бы его убеждением, а не знанием. Последнее легко вкладывается в человека, но столь же легко и заменяется другим, если логика докажет истинность нового. Но знание-убеждение можно вынуть только с жизнью, душой, головой, «я» человека. Оно уже не поддается хитроумным аргументам: знает, что это «бесова» работа, от слабости, рядящейся в мнимую силу, идущая, — которая, как Мефистофель, хочет

душу Фауста завлечь. Без этой живой крови логика вещей жить не может, и потому идет на все уловки, чтобы исторгнуть «я» из человека. При этом опять-таки недостаточно договора, подписи — это все в сфере права и логики (форм отчужденного бытия). Нет, нужно еще признание Фауста: «Да, мгновение — прекрасно ты!» Не знание, а признание — т.е. действие откуда-то свыше, чем знание, идущее, присоединяющее знание к чему-то, а именно: к «я» — ибо это «да!» есть акт свободной воли индивидуума, а не автоматический результат доказательств.

Раз сама ее величество Правда ощущает свою недостаточность и хочет срастись с человеком — значит, изнутри самой «логики вещей» каждый раз, в каждом акте познания, заново возрождается потребность: срастись с человеком, чтобы не просто «правда» была, а была — «Человек-правда». То есть то самое движение, тенденцию которого Сатин выражает со стороны Человека («Человек — вот правда!»), — здесь обнаруживается со стороны логики, хотя она никогда так прямо об этом не заявит, не истолкует так тот факт, что само доказательство добивается, чтобы ему — поверили.

Итак, через знание, логику хотят подцепить волю человека, которая, значит, имеет какую-то высшую и более широкую сферу владычества, куда чистое знание без пропуска воли (доверия «я») войти не может.

«Человек — не верит... должна, говорит, быть... ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет...»

Вот оно, то, о чем мы только что говорили. «Должно быть» — это значит: то, что исходит из воли, т.е. той стороны сознания, которая прямо слита с материальным существованием человека, потребностями его естества, тела, которые предстают в духе как желания и интересы, — есть более мощный критерий существования, чем бессильное, отвлеченно-логическое «есть» — «нет». («Нет праведной земли» — на своем логическом волярюке самодовольно заявляет наука география, полагая, что ее искусственно выработанные критерии более глубоки и сильны, чем критерии всего реального бытия; полагая, что все, что географией не охватывается, не укладывается в ее «участок», — «от лукавого».)

Воля дает задание логике: «Должна быть, ищи лучше». Как же реагирует на этот зов живой жизни логика вещей?

«Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет».

Что значит: «мои планы»? Ведь планы-то — науки, суть объективные факты, — а не «его», личные. Но в том-то и дело, что в столкновении с миром Человека: воли, убеждения, — и Наука вынуждена обернуться как индивидуум, живой человек: как Ученый, который — обижается, что

ему не верят. Сталкиваются, следовательно, уже два существа на почве веры (т.е. незаметно закон безличной правды и логики подменился законом убеждения, веры и «я» человека). Разница между ними теперь не в том, что один верит, а другой — нет, а в том, что один — «отчудил» свое «я», волю, передал ее «планам»: они — «верные» (а не человек — верен) — и сверяет новое не с собой (т.е. не верит себе, своему существованию), а с книгами и планами. К ним он испытывает новый фетишизм: они платят за все, а не он. Они солгут — они и отвечают, а он ни за что сам не отвечает.

А другой — человек. Он носит праведную землю в себе, в груди, как свое истинное «я», как свое существование. Он — как раз тот человек, о котором говорит Сатин: «Человек может верить и не верить... это его дело! Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум — Человек за все платит сам, и потому он — свободен!»

И вот он, этот человек, полагает, что и другой, «ученый», — тоже человек; что, следовательно, правда, истина, которую тот ему сообщает, есть тоже его дело, что он за нее (за этот «ум») в ответе.

«Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! а по планам выходит — нету! Грабеж!.. (Да — не истину, а его ограбили, оставили голым и пустым.) И говорит он ученому: "Ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый..." Да в ухо ему — раз! Да еще!.. (Помолчав). А после того пошел домой — и удавился!.. (Все молчат. Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу). Пепел (негромко). Ч-черт-те возьми... история — невеселая... Наташа. Не стерпел обмана...»

Так заплатил свободный человек за свою веру, свой ум, за свое «я» — сам, по своей воле, заплатил: никто его не тянул на это. И этот акт его свободной воли — есть высшее доказательство тому, что — «а все-таки она — вертится!», что «праведная земля» — есть, существует, никогда не умирает, ибо ее обитель — не в квадратных километрах, а в воле людей, в сущности Человека. И верно говорит Наташа: Человек «не стерпел обмана», — т.е. правды отчужденной науки, этой мнимой правды, — и противопоставил ей свою, человеческую, правду, сдементировав ее нетленное бытие — кровью¹.

¹ Подобную же мысль — родную Горькому — мы встречаем в романе «Мать» в устах Рыбина: «Не поверят люди голому слову — страдать надо, надо в крови омыть слово...» (7, 250). Или: «Только разум освободит человека — твердо сказал Павел. — Разум силы не дает! — возражал Рыбин громко и настойчиво. — Сердце дает силу, а не голова, вот!» (7, 241). И в романе «самомнение рассудка», в которое впадает железный человек Павел, непрерывно корректируется сердцем Матери и Андрея Находки, которые лучше понимают жизнь и больше любят людей, чем Павел, который любит сам процесс борьбы и себя в ней (ср. слова Андрея о его «жилетке»).

А ученый? За что же его так? Именно — ни за что, и это-то и есть высшее доказательство тому, что — пустая его истина, не добьется она сращения с человеком, что не дотянуться этой правде до состояния: «Человек — правда».

Ведь если с юридической точки зрения разобрать этот казус с мордобитием и оскорблениеми человека бранными, недозволенными словами, — то все это произошло «без причины». Разве ученый сволочь и подлец? Какое вообще имеют отношение эти, характеризующие индивидуальность, понятия — к истине? В том-то и беда, что — не имеют. Ибо истина и человек полностью разъединились, и их мерки и критерии — несоединимы.

Да, ученый — не виноват. Напротив, он старался помочь человеку, потратил свой труд и время — и вот благодарность! Незаслуженные оскорблении и брань! Как некультурно!

Вот именно. Это-то лучше всего доказывает бесчеловечие и самой культуры, ибо высшее страдание человеческой души, у которой разбит идеал, выступает как нечто «некультурное», не имеющее смысла, отрицательное.

Ученый оскорблен без причины. Но, значит, и самоубийство человека произошло без причины, что и отнесут в спасительную (спасающую от необходимости понимания) формулу — «невменяемого состояния». То есть, говоря так, юридическая наука полагает, что человек — дурак, что он поступил без оснований, без причин. На самом же деле этим она точно расписывается в том, что раз такой величественный акт, как такое самоубийство человека, — не может быть объяснен ее силами (нет ему причины! — юридическую, т.е. в своих узких понятиях осмысленную, причину она выдает за объективную причину): раз для нее этот поступок — нуль, — то, следовательно, и она (эта наука и закон) — нуль для истинной глубины «вещей» и человеческого бытия.

Человек убил себя без оснований! Да, верно: не вне его, в каком-либо общепонятном отчужденном факте, интересе, цели (банкротство, угроза наказания и т.д.) коренится основание его самоубийству, а в этом поступке человек опирался только на себя, на свое «я».

Человек убил себя в «невменяемом состоянии!». — Это так именно потому, что сама наука отчуждения невменяема по отношению к таким явлениям; что она не может «вменить» свою систему координат — в психику истинно свободного человека — и, зацепив ее так, разложить по своим полочкам. Именно свободный человек — который действует не в силу внешней необходимости, доступной освоению «логикой вещей», но по внутренней необходимости, — именно он — невменяем, иррационален, неисповедим, для науки отчуждения. Для нее объяснить человека — значит соединить его с его «я», которое из него извлечено, находится вне его и привязано к определенному

месту, и с этим местом и совпадает. Но для этой процедуры (такого объяснения) необходимо предварительное отчуждение от человека его «я», его сущности. На этом, уже исторически совершившемся факте, и возникает потребность в воссоединении человека со своим «я» — воссоединении не реальном, а идеальном — т.е. как объяснении умом¹. Но когда человек при себе, когда его «я», его свободная воля реально действуют в нем, — это уже есть абсолютная данность, достоверно — и не требует опосредования: объяснения через отношение.

Итак, в притче о праведной земле выявилось бессилие «логики вещей» понять бытие и человека. Это бессилие, однако, выступило в форме утверждения, что бытия и человека — нет. Иначе и не может поступить знание: для него существует лишь то, что оно знает, то есть то, что укладывается в систему его координат: того же, чего наука не знает, — просто нет: существовать и быть знаемым (истинным) для нее — одно и то же. Наука с ее планами и книгами перед вопросом человека о праведной земле оказалась в том же положении, в каком участковый полицейский Медведев — при первом знакомстве с Лукой. Медведев уверен, что он всех людей знает, по крайней мере, — «в своем участке»: «Медведев. Как будто тебя я не знаю... Лука. А остальных людей — всех знаешь? Медведев. В своем участке я должен всех знать... а тебя вот — не знаю...»

Но ведь и ученый убежден, что его «планы» и карты — «самые верные», что ими все улавливается, и если что-то не укладывается в них, то его нет, не существует. Так и Лука словно виноват перед полицейским в том, что он не был знаем, и должен либо стушеваться и уничтожиться — либо перейти в

¹ Потому разорванный человек нового времени, частичный индивид, по определению Маркса, — обречен на непрерывный крестный путь понимания. Он ищет смысла жизни, ищет себя, свое «я», тщится быть самим собой и т.д. Но сама необходимость понять, познать самого себя — есть плод отчуждения «я» от человека (и сократовский принцип в такой именно исторической ситуации и родился), так что кажется, что лишь в сфере мысли, т.е. лишь идеально, а не реально, — может он достигнуть тождества с самим собой и бытием. Вспомним, как и сам Горький признавался, что он всю жизнь мучился пыткой понимания: неизвестно кем наложенной на него потребностью понять все, всех людей и себя. Но это и означает, с другой стороны, что как ни умны, прекрасны и богаты те хитроумные постройки философской мысли, которые выработало человечество за века и тысячелетия, — в истинно свободном обществе, единении людей — в них не будет надобности. Ибо они есть прекрасный плод отчаяния и несчастья, когда люди вынуждены были сплетать изощреннейшие кружева логической мысли, чтобы этими окольными, хитрыми путями все же прийти к самим себе, достигнуть тождества с собой и бытием. Таков, в частности, реальный смысл утверждения Маркса о том, что при коммунизме философии как науке наук приходит конец. Лишь блуждающая мысль движется длинно. Когда она мощна и гениальна, она находит ошеломительно простой и ясный поворот, которым сразу доходит до цели, — и поворот этот лежит на поверхности — но мимо его проходят, его не видя. Надо, чтобы все неученные люди его могли видеть, чтобы знание бытия и себя было просто. Пока же знание — аристократично.

знамое состояние. А что это значит? Это значит: на нем должна вновь подтвердить себя система тех «планов и карт», суждений о человеке по месту в системе мира вещей (паспорт, анкета и т.д.), которой рассудок оперирует на своем участке (знания), а он, как индивидуум и Х — неизвестность, — должен исчезнуть, уйти в небытие. Лука в ответ на это притязание полицейского разума, на его обвинение Луки в том, что он (разум) его (Луку) не знает, поясняет:

«Лука. Это оттого, дядя, что земля-то не вся в твоем участке поместились... осталось маленько и опричь его...» А участковый обо всей земле и мироздании судит по своему участку, примеряя к ним свой аршин. Но ведь и наш ученый, который всегда — специалист, есть такой же участковый: он тоже умозаключает о бесконечном бытии и человеке, примеряя к ним аршин того «участка» бытия, который вмещается в «логику вещей». Кроме того, даже не всем знанием оперирует «ученый» а частичным, произвольно огороженным: наукой географией — и, тем не менее, он уверен, что дал исчерпывающий (основанный на фактах, логике и доказательствах) ответ на вопрос о праведной земле.

Как не вспомнить здесь чрезвычайно логичные умозаключения Ужа о том, что есть небо, радость бытия и т.д.: ведь он заключает о них не с кондака, а на основе эксперимента — по личному опыту: он видел все своими глазами и теперь твердо знает, что есть истина! Ученый мог бы ответить человеку, который оскорбил его действием и бранными словами: «Зачем же гордость! Зачем укоры! Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний (это совершенно точно сказано, ибо мир воли-желаний не переводится на язык отвлеченного мышления, правды, отделенной от человека, — и, поскольку этот мир не ведом разуму, он выступает как сфера глупости и бессмыслицы) и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? (Тоже очень точно сказано: «годность для дела жизни» в наличном мире — есть критерий осмыслиенного, истины. Негодность для дела жизни — нелогичность — безумство.) Смешные птицы!.. (Это смех не от прерыва автоматизма, но из убеждения в разумности автоматизма исходящий. Так смеются над поскользнувшимся и разбившимся в кровь человеком. Это — смех от несоответствия жизни привычному представлению, а не освобождающий смех, что истекает от несоответствия нашего привычного представления — реальной, живой жизни.) Но не обманут теперь уже больше меня эти речи! Я сам все знаю. Я видел небо... Взлетел в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю» (1, 485).

Полицейский Медведев в ответ на замечание Луки, что участок-то его не охватывает всей земли, — все-таки признался: «Правильно, участок у меня невелик...» Но вооруженный знанием и логикой ученый Уж, чья мысль движется по аналогичной схеме,

— в этом, как видите, не признается. Напротив, он скорее готов объявить нелепым, иррациональным, бессмысленным-несуществующим все то, что и е... понятно ему.

Царство свободы — на дне общества

Да, но если «логика вещей», выработанная в мире отчуждения, действует только в этих пределах (как механика и математика Ньютона все же действительна в особых пределах — даже после революции в естествознании конца XIX и в XX вв.), то как освоить мыслью, передать ее движением главное и глубинное содержание жизни человечества и Человека, — которое не только приоткрылось на рубеже XIX—XX вв., но все более настойчиво стало вторгаться, взрывать мир вещей и его логику.

Очевидно, первое условие для выработки этой новой логики «человекоправды» — это обнаружить в жизни такую реальность, где законы и интересы, и логика мира отчуждения теряют свою силу — и где бытие... Точнее, такой, наиболее простой и явной всем сферой оказывается, по сути дела — небытие: царство мертвых. И «На дне» — есть не что иное, как «Разговоры в царстве мертвых» (вспомним диалоги Лукиана под этим называнием), ибо это — люди изгои, «лишние»: не нужные обществу; но, с другой стороны, и оно само (и ничто в нем) — им не нужно. Сюда вытеснен Человек из мира отчуждения — и слесарь Клещ, опускаясь к концу пьесы на дно, тем самым возвышается в Человека.

Итак, перед нами — царство «не от мира сего» — царство свободы, могущее выступить при наличном бытии царства отчуждения и его логики — лишь как небытие. Здесь люди никуда не торопятся, не преследуют никаких целей, а ведут блаженную, не возмущаемую ничем жизнь олимпийцев, проводя жизнь в играх (карты), возлияниях (водка, как нектар), созерцаниях и размышлении (разговоры), и лишь изредка, для забавы, вмешиваются в дела смертных: то Сатин шутливо подстрекает Пепла жениться на Василисе и стать их хозяином, то Бубнов и Сатин разнимают драку Василисы и Наташи, Пепла и Костылева. Никакого изнутри идущего движения, событийного конфликта здесь нет. И те действия, поступки, столкновения интересов, которые все-таки в пьесе совершаются, вторгаются сюда сверху, это — толчки с поверхности, а не со дна. Единственная событийная фабула в пьесе, это — сюжетная линия отношений Василисы — Костылева — Пепла — Наташи. Страсть Василисы к Ваське и ее стремление удалить с пути ненавистного ей мужа и приводят в третьем акте к драке, убийству и затем — каторге. И в четвертом акте опять на дне — невозмущаемый покой: игры, возлияния, философствования о смысле жизни, Человеке и т.д.

Правда, в этом абсолютно эстетическом состоянии нирваны находятся лишь двое из обитателей ночлежки: Сатин и Бубнов.

Они уже избавились от желаний и стремлений, страха смерти — и великодушно добры (как Сатин) или великодушно злы (как Бубнов) — к людям.

Да, они — две ипостаси одного состояния свободы и свободного человека. И Сатин (а не только Бубнов) циничен: походя, равнодушно разрушает иллюзии: так он рушит мечту Актера — «ложь» Луки о лечебнице для «органонов» — и в результате Актер, как и человек из притчи о праведной земле, кончает с собой. С другой стороны, Бубнов благожелателен и добродушен. В четвертом акте он всех уговаривает водкой: «Я, брат, уговаривать люблю! Кабы я был богатый... я бы... бесплатный трактир устроил! Ей-богу! С музыкой и чтобы хор певцов... Приходи, пей, ешь, слушай песни... отводи душу! Бедняк-человек... айда ко мне в бесплатный трактир! Сатин! Я хотел бы... тебя бы... бери половину всех моих капиталов! Вот как!

<...> Медведев. Я — свидетель... отданы деньги на сохранение... числом — сколько?»

Вот вдруг вторгается мир отчужденных отношений с его логикой; и первый его шаг есть выдвижение посредника — третьего, становящегося между людьми как копилка их «я» и отношений, куда они должны отдать на сохранение свои «я», мысли; поручить регулирование своих отношений и т.д., отделив их от себя, передоверив свободу и свою волю. Свидетель — есть логическое доказательство во плоти: отношения двух здесь не прямые, непосредственные, а опосредованные, опирающиеся на другое.

«Бубнов. Ты? Ты — верблюд... Нам свидетелей не надо...» Вот их общежитие — непосредственное, а не через «представителей» совершающееся. У них жизнь течет без страданий, легко: даже Лука с наибольшим любопытством приглядывается к Сатину, чувствуя в нем какую-то абсолютную уравновешенность, самодовление, устойчивость в жизни: Лука. Веселый ты, Константин... приятный! <...> Легко ты жизнь переносишь! А вот давеча тут... слесарь — так взвыл... а-а-ая! Сатин. Клещ?»

Почему же Сатин ощущает жизнь как благо, счастье, радость, а Клещ — как непрерывное несчастье и страдания?

Сатин прекрасен потому, что он превозмог цели, не полагает их вне себя, а Клещ — целеустремлен: мечтает «работать», чтобы вырваться со дна — «в люди» (т.е. стать таким же, как существа-роботы отчужденного мира). Целеустремленность здесь выступает как качество, унижающее человека, связывающее его по рукам и ногам, опутывающее его отношениями мира отчуждения и обесчеловечивающее его.

Эта легкость в жизни и характере человека — есть нечто невероятное, «противоестественное», исключительное в мире отчуждения, где люди привязаны к вещам и перетягиваются от одной вещи (места) к другой — через интересы, цели, заботы: человек думает, что это изнутри его идущие проявления (акты) его воли; на самом деле — это сквозь него проходящие магнитные

силовые линии, тяготения, возникающие как отношения между вещами. И эту силу тяжести непрерывно ощущает там человек. Здесь же есть гармония с самим собой и бытием, и она возникает только тогда, когда Человек выключен из свистопляски целей и интересов.

Ничего не хочет и Бубнов. И хотя в приведенном выше диалоге с Сатиным Бубнов говорит: «Кабы я был богатый...» — это совсем не значит, что он здесь высказывает свою мечту, цель: он и ломаного гроша не положит, и пальцем не шевельнет, чтобы быть кем-либо (т.е. не самим собой, т.е. выйти из равенства себе, состояния гармонии с миром). Нет, будущее бытие (время), недаром выступающее здесь в условном наклонении, является просто как форма выражения *постоянно* (и в настоящем, следовательно) ему присущего свойства: щедрости и доброты, когда он пьян. И Бубнов это свое свойство тут же (а не в будущем) реализует, отдав все деньги Сатину. (Просто язык наш, его грамматические формы не выработаны для выражения неотчужденной логики, и ей приходится косвенно выражать себя через противоречащие ее мыслям формы: настоящее, то, что есть, выражать как желаемое, мечтаемое, будущее и т.д. Но об этом — ниже.) И этот его жест абсолютно равен по качеству тому, который бы он совершил, будь он богат, — пропорция та же, разнилось бы лишь количество: богатый Бубнов угощал бы лучше и больше — только и всего. Следовательно, и Бубнов не полагает смысл жизни и свое идеальное «я» в будущем (мечта), а полностью реализует его в настоящем.

В том-то и дело, что и у Сатина его мысли о Человеке выступают не как мечта, идеал, которому противостоит как его внешняя «оболочка», которую якобы надо снять, его (Сатина) настоящее существование шулера и тунеядца, — нет, а именно как то, что прекрасно и полностью живет и осуществляется в нем. Он не хотел бы стать Человеком — он есть таков: «Хорошо это... чувствовать себя человеком! (Он-то, следовательно, хорошо знает это чувство.) Я — арестант, убийца, шулер... ну, да!» [Дает он себе определение по месту в системе вещей: он не привязан к вещам, а отвязывает их с им присущих мест («вор»); не им служит, а играет ими («шулер»), и потому вещи хотят прицепить его к себе силой («арестант»)]¹.

¹ Даже свою доброту, благотворное воздействие друг на друга (т.е. творение блага в душе людей) люди, не веря себе, отделили от себя и определили в прочные вещи, носители этой способности: тюрьмы, орудия пытки и казни и т.д... Если Лука говорит, что «Тюрьма — добру не научит, и Сибирь не научит... а человек — научит» — то общество отчуждения выделило из людей человечность и дало ей вещное бытие: самодействующие механизмы для обучения их же (уже обесчеловеченных тем, что созданы автоматы человечности: тюрьмы, пытки и т.д.) добру и человечности.

«Когда я иду по улице, — люди смотрят на меня как на жулика... и сторонятся и оглядываются... и часто говорят мне: "Мерзавец! Шарлатан! Работай!" — Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (Хохочет.) Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми... Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек — выше! Человек — выше сытости!»

Итак, Сатин идет по улице совсем не стыдливо, а празднично, горделиво, чувствуя себя Человеком, — стократ более остро и мощно от того, что люди — рабы вещей и сытости — шипят на него. Он Человек — совсем не несмотря на то, что он шулер, или «х от я» он шулер; не по принципу: «и в ру比ще почтенна добродетель». Этот принцип и возникающая на его основе красота бедности не пробивает потолок отчужденного сознания. Напротив, он очень устраивает общество отчуждения и укладывается в «логику вещей», порождая мысль, что раз (даже) в ру比ще (т.е. в плохой вещи) почтенна добродетель, — то как же украсит ее, придаст сколь более ей цены и сделает ее стократ более «почтенной» — хорошая вещь, ну, например, приличный костюм и накрахмаленная рубашка с манжетами! И эта идея — кардинальная для «На дне». Здесь нет ахов и сострадания тому унижению, в котором пребывает Человек, отринутый на дно. Нет здесь и мужественного стоицизма и терпения во имя чего-то: будущего, идеала и т.д. «Человек за все платит сам и потому он — свободен». А «во имя» и «на благо» — предполагают, что цель и это «Во имя» (чего жертвуется) — несет ответственность за человека: он же слагает с себя и передоверяет свободу воли другому.

Напротив, на дне, в небытии, люди превращаются в человеков (Лука говорит Костылеву: «Есть — люди, а есть — иные — и люди...»), ощущают себя индивидуальностями, свободными. И что ситуация «дна», в которой оказывается человек, есть наивозможно близкое в системе общества отчуждения приближение к царству свободы и гармонии, обнаруживается хотя бы в необычайном сходстве диалога Сатина и Клеща с беседой Моцарта и Сальери:

«Сатин. Я тебе дам совет: ничего не делай! Просто — обременяй землю! Клещ. Ладно... говори... Я — стыд имею пред людьми... Сатин. Брось! Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живется... Подумай — ты не станешь работать, я — не стану... еще сотни... тысячи, все! — понимаешь? Все бросят работать! Никто ничего не хочет делать — что тогда будет? Клещ. С голоду подохнут все...»

Смотрите, с каким пафосом Сатин рисует эту картину, словно в этом состоянии неработы заключается какое-то высшее предназначение людей, реализация ими своей сущности как Человека, праздник счастья и гармонии. Но, может быть, это не так уж

лишено смысла. Ведь то, что рисует Сатин, это же есть всемирная забастовка — свободное волеизъявление людей, дерзнувших ощутить себя Человеками, которые выше сытости. Такой отказ от работы — есть разрыв автоматизма бытия. А именно труд, отчужденный от индивидуальности и радости, труд, как работа, а не творчество, и есть тот обмен веществ — почти «вещей», которым и питается общество отчуждения. В солнечной красоте вселенского праздника и карнавала людей-братьев изображен Горьким такой отказ от работы в «Сказках об Италии» — вспомните забастовку трамвайщиков.

Сатин здесь заходит с другого конца (как бы с итога) к той же мысли, которую высказывает умирающий Моцарт Сальери:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать! никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных? счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.

Мысль Сатина движется к этому же утверждению царства гармонии и красоты, которое совершится при условии (у Моцарта это — следствие) того, что люди перестанут работать, т.е. руководиться критерием сытости («кто не работает — тот не ест») и страхом голодной смерти (который лежит в основе целей, полагаемых Клещом). Лишь если люди скинут с себя гипнотизирующую власть и вырвутся из автоматизма заведенного извне бытия — они станут доступны, смогут взять зову творчества и гармонии, вообще понять и представить, что это такое. А до этого — людям нечем их почувствовать: они живут в совсем другом измерении.

И недаром этот же Сатин, который воспел гимн забастовке, разрыву отношений, построенных на взгляде на человека как на существо лишь едящее, равное (а не выше) сытости; которое «живет, чтобы есть», а не «ест, чтобы жить» (в отличие от латинской пословицы, созданной праздным классом рабовладельцев), — недаром из уст этого же Сатина звучит слава труду — творчеству: «Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна, — я, может быть, буду работать... да! Может быть! Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!» Вся тайна этого *труда-творчества* в том, что он не есть внешняя необходимость («обязанность», «долг») под давлением или высокой сознательности, или могучего пресса: страха голодной смерти — возникающая, т.е. его мерилом служат не результаты и плоды (это подсобный и само собой получающийся «продукт» творчества), а радость и счастье самого процесса активного самовыявления человеческого «я», наслаждение своей

творческой волей, силой и т.д. Именно так понимает труд рабочий Нил («Мещане»):

«Нил. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь — я ужасно люблю ковать. Пред тобой красная, бесформенная масса, злая, жгучая... Бить по ней молотом — наслаждение! Она плюет в тебя шипящими, огненными плевками, хочет выжечь тебе глаза, ослепить, отшвырнуть от себя. Она живая, упругая. И вот ты сильными ударами с плеча делаешь из нее все, что тебе нужно... Татьяна. Для этого нужно быть сильным... Нил. И ловким...» (б, 40).

Такой труд — это как борьба, укрощение зверя: человек выступает как бог, творец, демиург, запечатлеваящий свою волю, свой замысел на хаосе, аморфном материале природы. Это радость битвы, единоборства, где «Человек — свободен», ибо «за все отвечает сам»: и побеждает или гибнет.

Да, Сатин знает о таком труде. Но он совсем не стремится к нему как к цели, не мечтает о нем, ибо он — иная форма той же свободы, вольной радости жизни, того же ощущения себя человеком, которые он и так осуществляет и испытывает — живя в «озорстве»: изгоем из общества, шулером и т.д. Как Нил испытывает наслаждение творчества, чувствует себя сильным и ловким, когда бьет молотом по красной бесформенной массе, — так и Сатин чувствует себя человеком, когда просто идет по улице под взглядами железных людей — рабов, которые так же, как и злая и жгучая масса металла, «плюют в тебя шипящими, огненными плевками». «Мерзавец! Шарлатан! Работай!»: они хотят «выжечь тебе глаза, ослепить, отшвырнуть от себя».

Сам образ жизни, состояние, в котором находится и чувствует себя Человеком Сатин, есть акт свободы воли, есть надругательство надо всем, что признают ценным люди, запертые в мире вещей. И главное — их оскорбляет то праздничное чувство жизни, которое он излучает из себя. Если бы Сатин был вор и нищий с совестью и стыдом (как Клещ), чувствовал бы себя виноватым и стремился бы выбиться «в люди»: трудом или капитальцем, скопленным воровством, — то он был бы еще приемлем, входил бы в структуру общества отчуждения: мало ли людей выбрасывается им «на дно» и в нищенство! Но обществу дорого, чтобы люди в этом состоянии страдали, стремились бы вернуться назад, врасти в него, — тогда общество еще пронизывает их силовыми линиями своих отношений, держит их в орбите своей власти (или если бы эти люди проявили героизм терпения, стоицизм, — переносили бы, не ропща, эту «карю», посланную «богом», в надежде на лучшее). А вот Сатину — легко и радостно. Именно за эту радость бытия ненавидит общество Сатина: ведь эту радость не оно ему дало (в законной форме награды за заслуги или вознаграждения за труд), а он сам «вырвал (нет, без усилий, легко она досталась ему) радость у грядущих дней» — и нет, он

сам создал из себя, открыл эту радость. Он творец — не вещей и предметов, а этой радости бытия — и высший творец: ибо всемогущее общество своей обесчеловеченной силой может создать атомную бомбу, но не может создать и крупицы вольной радости и счастья.

Вот почему оно завистливым сальериевским оком взирает на радостных, легких людей, освободившихся от стимула «презренной пользы» и изведавших бытие в царстве гармонии. Потому оно травит и убивает этих людей с удовлетворенным сознанием исполненного долга и умиляется себе.

Моцарт. <...> Ты плачешь?

Сальери.

Эти слезы

Сперые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член!

Сальери, отравив Моцарта, действительно вправе чувствовать себя спасителем человечества, обеспечившим ему счастье, хирургом, отрезавшим опасный орган. Ибо и сам Моцарт признал, что, «если б все так чувствовали силу гармонии — тогда б не мог и мир существовать»¹. Люди несут по инерции бремя отчужденного труда — работы: они привыкают и не чувствуют его — и уже счастливы — да, уже не страдают и приучаются воспринимать мерку этой работы как разумную, а себя — гордыми и прекрасными (все это измерения общества отчуждения) — и презирают, как бездельников, или снисходительно посмеиваются, как над чудаками-полудетьми и юродивыми (т.е. выродками), над людьми, живущими как «птичка божия», — без целей. Но вот этот поезд отчужденного бытия всей своей массой наталкивается на такое препятствие, какое являют миру Моцарт, или Сокол, или Сатин, — и тут же люди ощущают себя бесконечно несчастными, и бремя становится тысячекрат тяжелее. И, предвидя такие случаи, вожди отчуждения человечества предупреждают распространение заразы, отсекают эти органы. Героически возышенный вариант этой ситуации мы видим в образе Великого Инквизитора (легенда Ивана Карамазова), изгнавшего самого богочеловека Христа во имя его же².

¹К сожалению, само это признание Моцарта рожено той же отчужденной «логикой вещей», и в этом его ограниченность, ибо он не представляет себе и полезный труд как творческий, как радость. Эту радость полезного труда каждый из нас испытывает непосредственно, когда сам, своими руками добывает пищу, мастерит; когда занимается земледельческим трудом (это прекрасно показали Толстой или Дефо в «Робинзоне»).

²Даже здесь «Во имя» более жизненно и нужно обществу, чем то живое, что подним: нужнее даже богочеловека.

Двойственный вариант этого мы видим в Сальери. Наконец, Уж в «Песне о Соколе», с такой же логикой рассуждает о смерти Сокола: «Зачем такие, как он, умерши, с м у щ а ю т д у ш у своей любовью к полетам в небо?» (1, 485).

Люди дна — это те, кто по своей воле или подвигнутые на это обществом преступили черту общества отчуждения. Отверженные! Униженные! Оскорбленные! Несчастные! — сочувствует им добродетельное буржуазное сознание, самоудовлетворенно ощущая себя-то правильно, разумно и счастливо живущим. И вдруг, каким-то ошеломляющим логическим ходом, Горький показывает, что эти люди испытывают истинное счастье и веселье жизни, и чувствуют в себе присутствие Человека, горды и не променяют свое состояние на рабство у корыстных целей и интересов.

Софисты — Сатин и Бубнов

Таким образом, «дно» и выступает как такая область жизни, где может складываться способ мышления, противоположный логике вещей. С точки зрения этой логики такое существование есть н е б ы т и е, ибо там ничего н е т. «Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу», — размышляет Уж о небе. Да, там пусто, ибо нет вещей, на которые могло бы опереться «живое тело». (Человек — лишь живое тело!) Если в мире отчуждения человек овеществляется, известкуется (склероз), то здесь вещи — расчеловечиваются: все вещные сущности выступают как человеческие. Вещи уже прозрачны, проницаемы, и логика вещей проскальзывает сквозь это бытие, как пустоту, и называет его — небытием.

В этом пространстве, однако, идет своя жизнь, но идет она в иных измерениях и формах. Если посмотреть на нее из мира отчуждения и сказать о ней языком его логики (а на вооружении у нее нет другого языка), то это — бесплотное и беспредметное существование, которое мы в обычной жизни ведем лишь в сфере сознания, мышления. Да, в «царстве мертвых» одна форма жизни может осуществляться — «разговоры». И в самом деле, так оно и есть: на дне, где нет вещей и интересов, — нет и корыстного, практического, материального отношения к ним. От них остались лишь бесплотные сущности: понятия, мысли, названия, слова — и ими непрерывно перебрасываются, обмениваются люди дна. Но зато в этом вакууме создается исключительно благоприятная среда для просвечивания понятий, слов, которыми орудуют в мире поверхности. Сатин и Бубнов и действуют и живут прежде всего как существа лишь мыслящие — при этом абсолютно беспристрастно. Если на «земле» мышление людей отражает их практическую заинтересованность в вещах, то в небытии, на дне — bla-

гоприятная почва для деятельности чистого разума. Она так же нуждается в свободе от практической злобы дня, как и высокое искусство. Отвлечение от вещей их идей, освобождение сущностей от вещей — происходит в том же состоянии духа человека, что и воплощение идеалов в образы, в предметы. Ситуация отвлечения равна ситуации творчества.

Если проследить за репликами лиц, действующих в первом акте пьесы, то обнаружится определенная закономерность: Люди, находящиеся еще на полпути на дно, чего-то хотят, стремятся и потому (имея цели) грызутся друг с другом; и лишь одни Бубнов и Сатин словно превзошли сферу воли, «практического разума», — и бесстрастно наблюдают этот маскарад, произнося время от времени сентенции или посмеиваясь.

Вот Квашня рассказывает, как к ней сватался участковый Медведев, — и все обсуждают это; Барон выхватывает у Нasti книжку «Роковая любовь» и дразнит ее; стонет умирающая Анна: «Анна. Каждый божий день... дайте хоть умереть спокойно! Бубнов. Шум — смерти не помеха...»

Форма высказывания Анны и всех остальных ночлежников — просьба, крик, т.е. то или иное навязывание своей воли, словом, — эмоциональное высказывание, выражающее тот или иной интерес «я». У Бубнова же форма высказывания — афоризм, т.е. безличная форма всеобщей истины, стоящей по ту сторону мира, воли. Он лишь констатирует.

В той же самой сфере умиротворенного бытия пребывает и Сатин. Он просыпается с перепою, рычит и ведет следующий характерный для обоих разговор с Бубновым: «Сатин. (приподнимаясь на нарах). Кто это бил меня вчера? Бубнов. А тебе не все равно?.. Сатин. Положим так... А за что били? (Следует полный силлогизм из двух посылок с выводом.) Бубнов. В карты играл? Сатин. Играл... Бубнов. За это и били... Сатин. М-мерзавцы...»

Вспомним разговор Василисы с Лукой и сопоставим с этим. И там и тут одни и те же слова, те же ступени в логическом движении мысли: кто? за что (зачем)? Вывод: «проходимец», «м-мерзавцы». Но у Василисы расспрос ведется с пристрастием, и эта форма движения мысли — на месте, так как служит определенной цели (другое дело, что она ее не достигает). Здесь же словно пародируется привычная автоматическая форма людских разговоров по «логике вещей» — и демонстрируется ее пустота и ненужность в мире, где вещей (и целей) нет.

«Бубнов. А тебе не все равно? Сатин. Положим так...» Сатин не совсем еще очухался ото сна и потому еще не знает, где он (во сне, очевидно, он пребывал в потустороннем мире — мире поверхности, где он, молодой Сатин, чего-то хотел, боялся, переживал и т.д.), — потому он по инерции еще задает вопросы по «логике вещей»: кто? за что? и т.д. Но этот мир и его логика

здесь — призраки. Все его различия здесь теряют силу: людям здесь в с е равно, все — едино, т.е. здесь — царство тождества. Далее, Бубновым строится буффонный силлогизм, а затем, когда в разговор вмешивается Актер, — уже Сатин выступает как изощренный софист, ловящий человека на словах: «Актер (высовывая голову с печи). Однажды тебя совсем убьют... до смерти... Сатин. А ты — болван. Актер Почем у? Сатин. Потому что — дважды убить нельзя. Актер (помолчав). Не понимаю... почем у нельзя?»

Актер еще к мысли и высказыванию относится серьезно и вдумывается не в слова, а в мысль (вспомним Луку: «не в слове — дело, а — почему слово говорится? — вот в чем дело!»). Они для Актера — одно и то же, срашены. Сатин же, который перешел в иной мир и уже испытал трудности выразить его содержание и свое бытие в нем — логикой и словами мира вещей, все время упирается в сократовскую проблему: почему слово не соответствует тому, что говорится, имеется в виду? Потому и в данном случае он нарочно не хочет понимать мысль Актера, придавшись к словесной форме ее выражения.

Мы совсем недаром здесь в сравнении упомянули Сократа и софистов. «На дне» — во многом по форме родственно платоновским диалогам и имеет тоже определенный предмет разговора: это — прение о Человеке и правде.¹ Но это сходство формы есть следствие жизненной и мыслительной ситуации. Они стоят на двух всемирно-исторических рубежах в истории мышления и его предмета — жизни. Во времена Сократа и Платона как раз начинало выстраиваться общество отчуждения, общественные отношения отделялись от людей, обретали собственную жизненность и связь — и требовалось выработать объективное мышление, отделив понятия от вещей, правду от человека, — то, что еще было слито в религиозно-художественном сознании Афин V века, когда полная жизнь целого (полиса) совершилась прямо через полную жизнь индивидуальности, а не через ее унижение и превращение в нечто, не имеющее значения — т.е. несущественное, пустое, случайное. Тогда-то и стала формироваться логика отвлеченного мышления — и уже у софистов достигла такой степени отвлечения от жизни и реальности, что равно убедительно она могла доказать все, что угодно, даже прямо противоположные вещи. Рождение у мышления этого свойства

¹ «Все — равно» есть реальное значение принципа «все — равны». Рассудочный идеал абстрактного равенства: чтобы все были равны — означает конец живому содержанию бытия (в котором всегда все есть разное). Жизнь есть непрерывные различия. Идеальным уравнителем единичных явлений во всеобщем выступает лишь смерть. Рассудочная логика добивается того же. Она и смерть — единомышленники: их мысль движется через потопление различий и индивидуальностей — во всеобщем равенстве, безразличии.

означало, что теперь логика настолько могла опираться уже сама на себя, что критерием истины выдвинула не соответствие своих выкладок реальности, а правильность собственного построения, создала критерий истины — в себе же. Мысль здесь уже, проверяя себя, не сверяла себя с бытием, а смотрелась в свое же зеркало. Так началось самодвижение мышления, родившее в итоге могучую структуру аристотелевских силлогизмов, — форму, которой человеческая мысль абсолютно доверяла в течение более чем двух тысячелетий.

И вот на рубеже XIX—XX вв. выявились новая всемирно-историческая задача: преодоление отчуждения бытия от человека должно сопровождаться и совершаться с помощью мышления, логики, вновь сливающихся с реальностью: с помощью истин, сливающихся с человеком, рассматривающих все в бытии не независимо от человека, как чего-то незначащего, не имеющего ценности и субъективно-произвольного, — но в ракурсе человека, его блага и существования, надо просматривать любую «отвлеченную» истину, вещь¹ и т.д.

Необходимым переходным этапом в осуществлении этой задачи явились та, родственная сократовскому периоду античной философии, чисто критическая деятельность наличного мышления, когда оно словно наслаждается противоречиями, в которых запутывается, — и этим способом саморазрушения разрушает и бельма с людских глаз, приуготовляясь к освоению человекоправды. Эту работу мы видим у А. Франса, Б. Шоу, О. Уайльда, Т. Манна и др. Она идет и у Горького, но он делает и следующий шаг (как и Т. Манн отчасти, и Р. Роллан, и др.) — к выработке новой позитивной логики. Этот процесс в двух необходимых звеньях: разрушения и созидания — интенсивно протекает в «На дне». Разрушить отвлеченную логику, обнаружить пустоту ее выкладок можно посредством «софистики»: выявляя противоречия самой себе, в которых она запутывается. Первая ступень этого процесса реализуется всеми ночлежниками, но прежде всего Бубновым и Сатиным, а также Лукой. Вторая — Лукой и Сатиным. Хотя, как мы увидим далее, и люди, стоящие на полдороге: Клещ, Актер, Васька Пепел, Настя — тоже не меньше дают для выстраивания нового града «Человекоправды».

В «На дне» развивается действие понятий, и оно поначалу далеко превосходит по своей интенсивности материальные действия персонажей. Так, в первом акте невозможным делом оказывается... поднести ночлежку. Метла переходит из рук в

¹ Если ранее пытались определить дело, вещь — «что» сделал человек? — то теперь сущность вещи и поступка обнаруживается не в нем самом, а в том, «к т о» и «к а к» его сделал. Томас Манн, рассказывая о том, как Феликс Круль в детстве, проходя мимо лавки, взял горсть конфет, — размышляет: может ли этот поступок быть назван «воровством»? Внешне — да, но у Круля это было актом высокого артистизма.

руки, точнее — друг к другу переходят слова о том, что надо бы поднести, и именно тебе, и почему (все это обосновывается логично): «*Барон*. Мне некогда убираться... я на базар иду с Квашней. *Актер*. Это меня не касается... иди хоть на каторгу... а пол мести твоя очередь... я за других не стану работать... <...> Мне вредно дышать пылью (с гордостью). Мой организм отравлен алкоголем». И, так, совершив полный круг, слова о «поднести» уходят и вновь возвращаются, пока вновь пришедший постоялец Лука, как новенький, не приносит при поступлении эту искупительную жертву. Действие в «На дне» идет так же, как в первой части «Обломова», где герой в сфере «чистого разума», мыслью, сном и разговорами обошел уже весь мир и свою жизнь (вплоть до детства — «Сон Обломова»), а в сфере «практического разума» — не слез еще с дивана и едва надел одну туфлю.

Да, но зато в сфере сознания — движение совершается, и интенсивно. Актер вновь с гордостью повторяет звучные слова: «Мой организм отравлен алкоголем» — и второй раз Сатин выворачивает слово: «органон». «*Актер* (настойчиво). Не органон, а ор-га-низм... *Сатин*. Сикамбр... *Актер* (машет на него рукой). Э, вздор! Я говорю — серьезно... да. Если организм — отравлен (строит он точный силлогизм)... — значит, — мне вредно мести пол... дышать пылью... *Сатин*. Макробиотика... ха! (Вот ответ на серьезный силлогизм Актера.) *Бубнов*. Ты чего бормочешь? *Сатин*. Слова... А то еще есть — транс-сцендентальный... *Бубнов*. Это что? *Сатин*. Не знаю... забыл... *Бубнов*. А к чему говоришь? *Сатин*. Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз... *Актер*. В драме «Гамлет» говорится: "Слова, слова, слова!" (К месту вспоминает он.) Хорошая вещь... Я играл в ней могильщика... Клещ (вторгается практический мир действий) (выходя из кухни). Ты с метлой играть скоро будешь? (Опять пресловутая метла — как лейтмотив.) *Актер*. Не твое дело... (Ударяет себя в грудь рукой.) "Офелия! О... помяни меня в твоих молитвах!..." (Уже не к месту вспоминает он — просто другие красивые слова, фразы, изречения: они выступают и без логической связи с предыдущими, — а как мотивы, лейтмотивы, ткут какую-то подводную нить пьесы¹ — как затем и реплика Бубнова: "А ниточки-то гнилые" и т.п.) <...> *Сатин*. Люблю непонятные, редкие слова...»

Итак, первая операция в разрушении логики — это разрушение, выворачивание наизнанку ее языка, слов, которыми она

¹ Здесь книжная эта фраза: «Помяни меня в твоих молитвах, нимфа» — перекликается с уже кровью выдавленной Актером просьбой Татарину перед тем, как повеситься: «*Актер*. За меня помолись...»

пользуется, — отделение слов от автоматических значений и нанизывание самоценных слов, связываемых не логической последовательностью: не через «почему?» и «что значит?» — эти вопросы задают Сатину Актер и Бубнов — а «просто так»¹. Непонятность слова («люблю непонятные, редкие слова») выступает как потенциальная (еще не выявленная) наделенность его каким-то более глубоким смыслом, — идущим, быть может, из сферы и логики «человекоправды», раз он непонятен в системе логики вещей, «наших слов», которые «надоели»: ибо автоматичны, слышаны «тысячу раз». Потому связи слов-мыслей цепью силлогизма, где слово одно следует после другого, как следствие, через причинно-временную связь, — противопоставляется просто сопоставление слов рядом, как одновременностей. Их соединение осуществляется просто как перечисление: через «а еще есть». Так, Сатин, сказав «органон», «макробиотика», говорит: «А то есть еще — транс-сцендентальный». Причем единственная их общность, благодаря чему они ассоциируются друг с другом, — это их особая звучность и непонятность, как слов сакральных.

С таким же успехом Сатин мог бы то, что он хочет высказать, выразить не словами, а просто звуками, — что он и делает в действительности: первая реплика, которую он подает в пьесе, есть: «Бубнов (Сатину). Ты чего хрюкаешь? (Сатин рычит)». И потом, на крик Клеша «Сатин громко рычит» — и это есть тоже мысль.

Подобно этому и Актер извлекает из своей памяти звучные реплики из пьес, ставшие крылатыми словами — т.е. заключающими смысл сами по себе, свободно от контекста логики вещей, — и тоже нанизывает их рядом не связью логической причины, а связью: «еще».

Последовательность в движении мысли, строящаяся по принципу силлогизма, разрушается еще (Что это? И я заразился и стал так связывать мысли?) и тем, что в этой железной форме, созданной специально, чтобы в нее ложилась целеустремленно продвигающаяся мысль, завоевывающая новый вывод ступень за ступенью (посылка за посылкой), — высказывается мысль бесцельно блуждающая, говорящаяся «просто так», «ни к чему». Так Сатин вслед за признанием: «Люблю непонятные, редкие слова...» — вспоминает: «...когда я был мальчишкой... служил на телеграфе... я много читал книг. Бубнов. А ты был и телеграфистом? Сатин. Был... (Усмехаясь). Есть очень хорошие книги... и множество любопытных слов... (Вот! Книги не мыслями ему запомнились, а «любопыт-

¹ Сам Горький любил, как он признается в «Детстве», заниматься таким же выворачиванием слов: «яко же» — «Яков же» — «Я в коже» и т.д.

ными словами.) Я был образованным человеком... знаешь? Бубнов. Слыхал... сто раз! Ну и был... Экаважность... (Вот что можно применить к каждой говорящейся здесь фразе.) Я вот — скорняк был... свое заведение имел... (Ну, — ожидаем мы какого-то важного рассказа о жизни — ведь недаром, наверное, человек это вспомнил: пробудится то ли печаль о прошлом, то ли мечта, внутреннее какое-либо стремление высажется... А на что же на самом деле тратится этот заход мысли? Какая ассоциация возникает у Бубнова?) Руки у меня были такие желтые — от краски: меха подкрашивал я, — такие, брат, руки были желтые — по локоть! Я уже думал, что до самой смерти не отмою... так с желтыми руками и помру... А теперь вот они, руки... просто грязные... да!»

То есть — себя он вспоминает не внутренне связанного с той, прошлой жизнью, «в мире ином», и не свои содержательные жизненные отношения и интересы, — но свою оболочку, панцирь, пустую деталь внешнего облика: желтые руки.

И такие великие категории нашего бытия и сознания, как: страх, надежда, волнение — тратятся в его высказывании на то, чтобы облечь собой такую содержательную «проблему»: отмоются его руки или так и помрет он с желтыми руками? А такие великие итоги жизни, как: избавление от страха, исполнение желаний и осознание разумности бытия — предстают в том... что руки уже не желтые — а «просто грязные». Все, следовательно, к лучшему — и помрет он уже не с желтыми, а просто грязными руками. Так уже в самом рассказе Бубнова внезапно на полпути сламывается серьезная цепь силлогизма, и она повисает в воздухе. Но ее тут же добивают до конца:

«Сатин. Ну и что же? (Теперь Сатин выявляет ту же бессмысленность высказывания по схеме: «кто», «зачем», «к чему» и т.д., — которую в первом разговоре Бубнова с Сатиным на тему: «кто» его (Сатина) был? — выявлял Бубнов, вопрося Сатина: «А тебе не все равно?») Бубнов. И больше ничего... Сатин. Ты это к чему? Бубнов. Так... для соображения. (Ну, уж если по привычке ждете целенаправленного к выводу высказывания, то — нате вам, пожалуйста, получайте афоризм:) Выходит — снаружи как себя ни раскрашивай, все сотрется... все сотрется, да!»

Но вся-то штука в том, что Бубнов рассказывал лениво, «просто так», совсем не имея в виду подвести к этой сентенции: он ее выкидывает в конце — так, чтобы отвязались. Она, эта заключительная сентенция, пусть даже железной цепью силлогизма связанная, по видимости, с предшествующим рассказом (ибо ее прямо и точно из него можно вывести: рассказ именно к ней по «логике вещей» подводит), все равно соединяется с этим рассказом связью, «а еще»: т.е. через разрыв, а не через причину и цель.

Насколько унижаются и опустошаются эти понятия, связи причины и цели, видно и в том, на что тратятся великие ходы мысли: «зачем?» и «почему?». «Сатин. Гудит у меня голова... эх! И зачем люди бьют друг друга по башкам? Бубнов. Они не только по башкам, а и по всему прочему телу». Очень резонно дополняет и уточняет он проблему, которую ставит Сатин.

Потом и Медведев размышляет очень логично: «Эх, служба! И зачем разнимают людей, когда они дерутся? Они и сами перестали бы... ведь устаешь драться... Давать бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет... стали бы меньше драться, потому, побои-то помнили бы дольше...» Мысль настолько дальняя и так хорошо целеустремленным движением силлогизма построенная, что она даже вызывает одобрительную (или ироническую) реакцию Бубнова, который советует сделать этот силлогизм общественным достоянием. «Бубнов (слезая с нар). Ты начальству поговори насчет этого...»

Итак, на дне теряет силу форма силлогического движения мысли по логике вещей. Она может действовать там лишь, где есть зацепки целей, ибо всякое логическое определение связано с целью каждой вещи: определение существа вещи и есть выявление цели (отношения, связи), для которой она существует: т.е. вещь (человека, «истину») надо опереть не на них самих, а на другое. А здесь сама жизнь произвела предельное абстрагирование людей от отношений, связей, целей и интересов, которыми руководствуются люди в обыденной жизни «наверху».

«Клец. Ничего нет! Один человек... один, весь тут...» Вот: сама жизнь произвела здесь сведение всех частных определений, применяемых к людям и явлениям, до двух основных философских категорий: «все» и «единое», — соединив их в одно положение: «все — равно», «все — едино» («все — равны»). Потому здесь растворяется и остраняется содержание всех определений, понятий: что есть человек, жизнь, стыд, совесть, правда и т.д. — легко выявляется их реальная суть и ценность, откуда она берется, — и может быть обнаружена прямая связь всех этих «высоких» понятий (совесть, честь) с отношениями отчужденного бытия.

Начнем хотя бы с определения того, что есть человек. Человек здесь остается голый, «естественный». «Бубнов. Что было — было, а остались — одни пустяки... Здесь господ нету... все слиняло, один голый человек остался... Лука. Все, значит, равны... А ты, милый, бароном был?»

Все атрибуты, признаки могут здесь выступить не в настоящем времени, не как то, что есть (а логика вещей и всякое определение может действовать лишь в настоящем времени: «Жучка есть собака»), а в прошедшем и будущем, где для логики нет опоры: нет реальности, видимых фактов, на которые она могла бы опереться, — все зыбки и мнимы; здесь от всех устойчивых

понятий лишь тени и призраки остались (или являются). Единственным атрибутом человека остается здесь — просто существование. О нем уже нельзя сказать: кто он такой (даже имени у него нет — см. размышления Актера).

Так в четвертом акте теряет «атрибуты» бывший полицейский Медведев. Пьяный Алешка поет разгульную песню о куме, а Медведев еще по инерции старой привычки спрашивает: «Медведев. Мм... а если спросить — кто такая кума? (Видите, он еще домогается определений людей, претендует знать их.) Бубнов. Отстань! Ты, брат, теперь — тю-тю!»

Вот теперь точное «определение» человека, так что и слов в языке человеческом для этого нет, а междометие лишь и даже звукоподражание осталось, — т.е. то, из чего язык когда-то рождался — ср. бормотание детей: «тя-тя», «тю-тю» и т.д. Человек уже — не смысл, а звук: ибо всякое содержание, всякое определение, значение возникает от связей в обществе, места человека в них. Теперь это место утрачено — и нет для человека значащего слова. Потому и Сатин — рычит, а далее: Человек — это не «есть» гордо, а именно «зучит гордо».

Клещ до смерти Анны еще был «муж» и «слесарь». Эти два определения у него остались от отношений и связей мира поверхности — и то они вели между собой бешеную борьбу: стать самим собой «слесарь» в Клеще сможет, лишь если убьет в нем «мужа».

Вор Васька Пепел относится к жизни на дне философски: «Живут же люди... Клещ. Эти? (Смотрите, вдруг какая спесь обнаружилась!) Какие они люди? Рвань, золотая рота... люди! Я — рабочий человек... мне глядеть на них стыдно... я с малых лет работаю... Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдеру, а вылезу... Вот, погоди... умрет жена... Я здесь полгода прожил... а все равно как шесть лет... Пепел. Никто здесь тебя не хуже... напрасно ты говоришь... Клещ. Не хуже! Живут без чести, без совести... Пепел (равнодушно). А куда они — честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести...»

Итак, формируясь в «логике вещей», все прекрасные понятия: такие, как труд, стыд, честь и совесть, — сразу же совершают первое преступление перед Человеком: они рождают спесь, высокомерие, презрение, неуважение к людям — словом, сразу же, как первородный грех свой, несут — бесчеловечность. Смотрите: Клещ, который лишь на одну ступеньку еще стоит над «дном», в обществе отчуждения, — не видит в своих сожителях людей: ему застила глаза его рабочая гордость, стыд и совесть. И вполне закономерно в его устах является следующее бессознательное и многозначительнейшее признание: «Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдеру, а вылезу... Вот погоди... умрет жена...»

Оказывается, стыд, совесть, принципиальность и т.д. требуют человеческих жертвоприношений: пока жива жена Клеща, необходимость кормить и заботиться о ней связывает ему руки и мешает его целеустремленности. Живя в человеке, такие добродетели, как целеустремленность, стыд и совесть, побуждают его не только презирать дальних, но лютой ненавистью ненавидеть прежде всего — ближних своих. Итак, как только человек дал хоть на йоту засосать, на каплю соблазнить, связать, опутать себя, гипнотизировать хоть одним — пусть самым прекрасным понятием, целью, из сферы отчужденных отношений (таким даже, как труд, совесть), — он немедленно перестает быть Человеком, а лишь рабочим, честным, совестливым и т.д. — и становится беспощадным врагом людям, которому ни до кого нет дела: пусть издохнут все, а он будет честным! В голос с Клещом именно это прямо проговаривает родственный ему Татарин, который чтит «закон» («У-у! Злой баба — русский баба! — осуждающее говорит он о Насте. — Дерзкий... вольна! Татарка — нет! Татарка — закон знает!») И высшей характеристики удостоился в его глазах Лука: «Старик хорош был... Закон душе имел!» Так этот Татарин доводит до логического конца принцип закона и честности:

«Татарин (горячо). Надо играть честна! Сатин. Это зачем же? Татарин. Как зачем?»

Этот вопрос о цели он, бессознательно живущий, никогда себе не задавал — и тут же оторопел; а Сатин уже понимает, что по цели можно выверить и уловить реальное содержание всех человеческих определений, понятий и правил; своим вопросом он побуждает связать догматическое правило с целью — и тут же заставляет Татарина, уже не защищенного правилом, проговориться: высказать суть правила человечьим языком, а не языком иллюзий.

«Кривой Зоб (благодушно). Чудак ты, Асан! Ты — пойми! Коли им честно жить начать, они в три дня с голода издохнут... Татарин. А мне какое дело! Надо честна жить!»

Насколько великодушнее и человечнее жулики, не знающие ни стыда, ни чести, ни совести! «Нет на свете людей лучше воров!» — заявляет Сатин (а он-то знает, что есть Человек!), на что Клещ вновь упрямо твердит (угрюмо): «Им легко деньги достаются... Они — не работают...»

Его прекрасный принцип: «работать!» — имеет высшей целью, оказывается, — деньги, которые не дадут ему умереть с голоду, — вот суть и призвание Человека. Для вора Пепла деньги — лишь частная подробность, средство бытия: он не гипнотизирован ими как целью. Рабочая гордость Клеща и законолюбие Татарина питаются соками злобы и зависти. А те, «жулики», даже к ним добры и снисходительны: зовут их чай и водку пить — и в конце

пьесы даже Татарин и Клещ оттаивают, становятся человеками: когда у них обрубились все цели и все надежды выбраться «в люди»: у Татарина рабочую руку его обрушили, а Клещ уже не слесарничает, а просто так чинит гармонию Алешке: «Клещ (выпив, отходит в угол к нарам). Ничего... Везде — люди... Сначала — не видишь этого... потом — поглядишь, окажется, все люди... ничего!»

Татарин сначала было воспротивился по инерции ночному веселью: «Татарин. Ночь, спать надо! Песня петь днем надо». Он еще полон логики четких различий, придаваемых всему разделением труда в обществе отчуждения: всему свое место. И эти определения, свойства вещей и действий предстают как необходимость: как «надо», живущее над человеком, а не изнутри идущее «хочу». «Надо» и человек «должен» — звучат «на дне» чаще всего в устах полицая Медведева и хозяина ночлежки Костылева: им надо, чтобы «порядок» был. А здесь нет внешних пределов над желанием и волей свободного человека: он все может, что хочет (см. монолог Сатина): и ночь превратить в день, и тьму — в свет радости и веселья, — и обаянию этой свободы не может не поддаться даже Татарин.

«Татарин (улыбаясь). Ну, шайтан Бубна... подноси вина! Пить будим, гулять будим, смерть пришел — помирать будим! Бубнов. Наливай ему, Сатин! Зоб, садись! Эх, братцы! Много ли человеку надо? Вот — я — выпил и — рад! Зоб!.. Затягивай... любимую! Запою... заплачу!..

Кривой Зоб (запевает).

Со-олице всходит и захо-оди-ит...

<...> Барон (стоя на пороге, кричит). Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там Актер... удавился!

<...> Сатин (негромко). Эх... испортил песню... дур-рак!
Занавес».

Оказывается — много человеку надо. И самоубийство Актера в момент, когда все жители ночлежки сливаются в братском единении, когда и в Татарине, и в Клеще родился человек, а с ним — и любовь, и радость, т.е. когда и они достигли состояния нирваны, в котором с самого начала пребывают Сатин и Бубнов, — сразу опрокидывает красоту и разумность нирваны «дна» как небытия. Человек в нем свободен и красив — и абсолютно пуст, живет лишь отрицательным содержанием. И его красота носит тоже пустой, отрицательный характер: в нем лишь нет той гнусности и рабства, в котором живут и мечутся люди поверхности, — и все. Это — вакуум, безвоздушное пространство.

И вот перед нами раскрывается новая бездна: труднейшая задача позитивного творчества. Для этой задачи опускание человека на дно было необходимым моментом — как забвение того ложного, чему учили, стирание отчужденных письмен,

превращение души человеческой в *tabula rasa*, приготовленную для новой, активной, положительной жизнедеятельности.

Но что и как, какой мир и какая логика будут теперь вырастать на промытой и очищенной субстанции Человека? Эта проблематика связана в пьесе с образом Луки — воссоздателя, точнее — собирателя Града души на обломках мира отчуждения.

Сократ — Лука

Для него убеждение, что все — люди, все — равны, — то, к которому лишь в конце приходит Клещ, — есть исходное. Он и является в ночлежку с этим *Credo*, выговаривая его в первой же своей фразе: «Лука. Мне — все равно! — Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха — не плоха; все — черненькие, все — прыгают... так-то.»

И не случайно Лука является в пьесе в тот момент, когда работа разрушения всех ценностей мира отчуждения и его логики вещей — доведена уже до оргии отрицания. Ночлежники с упоением набрасываются на Клеша и одно за другим размалывают последние и коренные, якобы твердые основания наддонного бытия: труд, честь, совесть — и все это делается умно, красиво. И Медведев, когда он уже из полицая опустился в просто человека, и не подозревает, какую глубокую мысль о софистике Сатина — Бубнова высказывает, говоря: «Жулики — все умные... я знаю! Им без ума — невозможно. Хороший человек, он — и глупый хороший, а плохой — обязательно должен иметь ум». Если мы, например, соотнесем Отелло и Яго, который, конечно, умнее наивного Отелло, — нам приоткроется та бездна, которая здесь, в этой проблеме скрыта. Просто ум без почвы человеческих отношений и ценностей — есть цинизм, софистика.

Сатин цинично пляшет канкан над трупом труда: «Работа? Сделай так (иши ты, какой-то добрый дядя должен ему сделать работу приятной, а сам он и пальцем для этого не пошевельнет!), чтоб работа мне была приятна-я, может быть, буду работать... да! Может быть! (И рядится это сибаритство в очень красивый идеал.) Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!»

Бубнов потешается над совестью: «На что совесть? Я — не богатый...»

И затравленный их бесовской софистической логикой и все же не сгибающийся Клещ, как это ни парадоксально, предстает последним оплотом и надеждой человеческого бытия: он все же чего-то хочет, верит, надеется, стремится, не примиряется с тем, что небытие есть естественная и единственная сфера, где человек может быть человеком. У них все пусто, все съедено отрицанием. У Клеша, пусть в изуродованной форме (бесчеловечность,

жестокость), теплится еще жажда положительного, содержательного бытия человека, представление о том, что это возможно. Но и он унижен Пеплом, Сатиным и Бубновым; и Настя, в душе которой живет жажда чистой любви, поругана Бароном; и Актер, еще помнящий о таланте, — осмеян Сатиным; да и Васька Пепел унижен последним, когда Сатин шутливо и цинично предлагает ему жениться на Василисе, убить Костылева и стать самому их хозяином, — т.е. Сатин столь низко его ставит, что предлагает ему воспользоваться благоприятным для него стечением обстоятельств и власти в общество отчуждения, — чего сам Сатин бы не сделал.

И все это размалывание последних положительных, устойчивых идеалов-ценностей в душах Актера, Нasti, Клеща и Пепла — производится силой логики, во имя правды. Бубнов и Сатин, как софисты, просто до логического предела доводят логику вещей и разрушают ее, ее же силой, примеряя к ней и ко всему ее же собственные критерии, договаривая все до конца, без иллюзий. Они тем самым и разрушают это мышление, обнаруживают его пустоту, — но и сами не выходят из пределов «логики вещей», не подозревают о возможности другой (идея Человекоправды является у Сатина в конце: после того, как старик (Лука) «проквасил нам сожителей», — и его в том числе).

Вот почему неизвестно еще, на чьей стороне наши симпатии (точнее: в чьей позиции больше содержания и моши): в позиции нелогичного, себе противоречащего Клеща, который косноязычно, но с черноземной мощью веры и надежды, с яростью и болью глаголет о работе, стыде, чести и совести, или в бесстрастной логике Бубнова и Сатина, чье спокойствие отдает холодом мертвчины и человеческой падали (недаром Бубнов где-то в пьесе сравнивается с Вороном: это не Уж, но Ворон). И Клещ среди этих ливней цинической иронии воздевает руки горé и «бросает в небо богохульства» — и возвышается до той же сатанинской моши, которой обладали все великие несгибаемые бунтари и мятежники: от Каина, Прометея и т.д. и т.д.

Да, он здесь равен Каину — бунтарю и мятежнику: для его веры в «бога», т.е. в положительные ценности: труд, честь и совесть, — потребовались сатанинские качества гордыни, мятежности, которых лишены расслабленно-самоуспокоенные «мефистофели» — олимпийцы Сатин и Бубнов, пребывающие (как некогда бог) в ненарушенном, гармоническом состоянии мира отрицания и сомненья, в непротиворечивом равенстве себе — в нирване чистого небытия.

В этой нерушимости веры Клещ могуч и прекрасен. В нем теперь залог, что — Ессе Ното — жив Человек «и посрамлен да будет Сатана» («Фауст»). И посрамлена да будет их (Сатина и Бубнова) софистическая логика; она во имя правды разрушает все истины отчуждения, но не дает и не подозревает о

Человекоправде, смешивая в одну кучу с ложью общества отчуждения мечты Насти, Актера, Клеща, Пепла и т.д., видя в них только самообман, иллюзии (т.е. подходя к ним тоже с отчужденно-логических позиций, сверяя их с «реальными» фактами бытия — что делает и логика полицая Медведева, Василисы и ученого из притчи о праведной земле), но не подозревая в них качественно иное: энергию положительной человекоправды, положительного выявления, творчества каждым своей индивидуальной сущности как Человека.

Именно это прозревает Лука, именно на этой ниве он работает, возвращая и лелея эти ростки.

Человекоправда

Итак, мы приступаем к самому трудному: положительному жизнетворчеству и человекостроению, а на их основе — к выявлению логики «Человекоправды». Вначале попробуем более четко прояснить, в чем здесь проблема.

Мир, строящийся на отчуждении всего от человека и сделавший человека функцией вещей и места в обществе, — вообще-то в высшей степени многообразен, развит, богат,строен, логичен и т.д. В нем есть единый источник движения — труд; мир этот развивает бесконечное множество потребностей, целей, отношений, а следовательно, и человеческих свойств, которые движутся, и — как мир и человек ни сложен — все их и его можно понять, исходя из общества, как развивающегося, единого, целостного организма, следя нити этого развития. То есть этот мир, с одной стороны, бесконечно богат, а во-вторых, — при этом богатстве — до конца познаем. Так Гегель мог объяснить все в системе отчужденного бытия, взяв именно его за высший и конечный результат и цель жизни и развития человечества. И лишь на реальной системе разветвленного общественного производства, ставшего для людей первой и абсолютной действительностью, опосредовавшей все возможные цели и отношения (даже к природе, смерти и т.д.), — и могла сложиться его все объясняющая диалектическая логика, чей принцип: движение через непрерывное самопротиворечие, отрицательность — воспроизводил принцип движения самой общественной жизни через непрерывное самоотчуждение человека.

Мы выявили, что этот мир пришел в антагонистические отношения к бытию человека и, созданный как организация жизни людей в обществе, грозит пожрать человечество (атомная бомба, роботы и проч.). Потребность в новом типе бытия назрела из столкновения общества с Человеком. Но если это общество все же могло породить столь богатый, сложный материальный и духовный мир и так организовать его, — то что может родиться из человека, если в нем, допустим, поместить источник

организации бытия, начало начал? Содержится ли в нем какой-либо плодотворный положительный принцип организации всей жизни, или, как в Сатине, все его содержание не имеет самостоятельного источника разнообразных качеств — а есть просто отрицательная величина: в нем нет того, что есть в людях-рабах общества отчуждения. Находящиеся в небытии, как собственной сфере человека, ночлежники друг друга различить могут лишь по прошлому бытию в мире отчуждения: ну, например, человек Барон есть потому барон, что у него сейчас нет того, о чем он рассказывает, что оно было: и Настя, чтобы уничтожить его «я», с остервенелой яростью кричит ему: «Н-не было! <...> Не было карет!» Тем самым все равно исходным источником содержания и различий остается общество отчуждения — и, исходя из его отношений и поставив к ним лишь знак «минус», можно собрать какое-то содержание жизни, характера и мысли того же Сатина.

То есть что может Человек предложить взамен отчуждения? Не получится ли мир, устроенный на началах Человека, лишь пустым, бесконечно скучным и неподвижным, — в сравнении с кипящей интересами жизнью общества отчуждения? И это совсем не предполагаемая лишь опасность. Бубнов и Сатин любят именно «голого человека», абстрагированного от всех целей и качеств («все — равны»), — и торжествуют, когда люди опустошаются: Человек предстает лишь как абстракция; его свобода — как бездеятельность, его веселье — как радость самоуничтожения, самозабвения (пьянство). Никакого источника движения деятельного различия здесь нет. Все тонет в пустом равенстве. Здесь люди просто — живы. Ну, а «ч е м люди живы?». Из себя-то они могут ли породить содержание бытия (это «ч т о») или могут почерпать его лишь извне, в объективном бытии наличного общества?

И вот деятельность Луки в «На дне» есть попытка как-то справиться с этой величайшей проблемой. Его исходным пунктом является то абстрактное тождество, уравнение людей, их ценности и содержания, — которое является конечным пунктом, идеалом Бубнова и Сатина. Это — субстрат, исходный материал для его деятельности. «По мне ни одна блоха не плоха» — это значит, что все те различия, качества, которые налипают на людях как следствие их места и отношений в обществе отчуждения, — отбрасываются.

Но далее, исходя из Человека, начинается новое само-различие, но уже внутреннее (а не со стороны общества отчуждения). В ответ на слова Костылева, выдвинувшего тезис: «Все хорошие люди пачпорт имеют» (т.е. «хорошесть» человека есть свойство, дарованное ему властями, и удостоверяется паспортом), — Лука заявляет:

«Есть — люди, а есть — иные — и люди... Костылев. Ты... не мудри! Загадок не задавай... Я тебя не глупее... Что такое — люди и люди? Лука. Где тут загадка? Я говорю — есть земля неудобная для посева...»

Лука не дает ответ по форме: «Человек есть то-то и то-то» — это отчужденная форма мысли: определение сразу подменяет одно другим («Жучка есть собака» топит неповторимую индивидуальность в чем-то общем, полагает ее как подменимую). Лука высказываетя каким-то обиняком, так что не вкладывает в собеседника общезначимую, безличную мысль в своей, когда-то, до мышления этого человека, сложившейся твердой форме, но будит индивидуальное соображение человека, так что тот, на основе своей натуры, приходит к выводу, который и имел в виду Лука — и не имел, не мог предполагать, ибо его конструкция иная. Здесь, в этом способе мышления и речи, взаимопонимание осуществляется не через выравнивание мысли двух в единой для всех формуле, где индивидуальные мысли топятся, — но через их напряжение и расцветание.

«...и есть урожайная земля... что ни посеешь на ней — родит... Так-то вот... Костылев. Ну? Это к ч е м у же? (Его автоматическое мышление не понимает этого языка: это для него — загадка и увиливание от прямого ответа, т.е. ответа на вопрос, который есть то же самое, а не новое по сравнению с вопросом.) Лука. Вот ты, примерно... (Опять не общая формула, общезначимое доказательство, — а индивидуальное разъяснение.) Ежели тебе сам Господь Бог скажет: "Михайло! Будь человеком!" Все равно — никакого толку не будет... как ты есть — так и останешься... Костылев. А...а — ты знаешь? (Следует далее типичнейший ход отчужденного сознания: о себе индивиду нечего сказать — он опирает, делает себя достоверным через другое существование.) — У жены моей дядя — полицейский? И если я...»

«Я — есть дядя моей жены» — вот что в определение себя как человека может сказать Костылев.

Итак, «люди» — те, кто целиком погряз и тождествен отношениям мира отчуждения. Они — безнадежны... «Человеки» — это те, кто, живя в этом мире, тем не менее имеют другой стимул действий и мыслей, коренящийся вне этого бытия. Где?

Где же источник той силы, которая, противодействуя тяготениям мира отчуждения, может стать (или всегда является) источником живой жизни людей во Человеке? Естественнее всего искать ее в том, что является главным врагом общества отчуждения. Таковым является человек как конкретная целостность, индивидуальность. Эта целостность есть организм, неповторимое тело. Упрощая, представим его хотя бы как шар. Шар можно сделать (т.е. освоить практическим деянием), но нельзя адекватно познать (т.е. освоить мыслью), например,

измерить его объем, чтобы все было известно, точно переведено в количество, без остатка. И математика прибегает здесь к величинам нечетким, неустойчивым (π и т.д.), в которых она и тщится своими (пригодными лишь для механизма) средствами возвыситься до постижения свободного организма (обладающего самодвижением — существа, в котором не все предопределено).

Так и в своем освоении и познании человека — общество отчуждения хочет сначала раздробить его, сформировать все его органы как механизмы, заменить неровные, кривые линии — прямыми, — и потом уже снова воссоздать его на своей основе, в своих формах, измерениях и понятиях, — в целостность, которая уже будет не шаром (или каким-то каждый раз неповторимым, неправильным телом), а суммой бесконечных призм, кубов, параллелепипедов и т.п. абстрактных определений, свойств (по месту) и форм жизни¹. Общественное тело по имени «Этот Человек» будет слагаться в целостность из частичек: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, место жительства, профессия, образование и т.д. Плюс к этому человек есть — отец отличника, проситель, ожидающий автобуса, свидетель, № 395 в очереди за билетами на балет, избиратель, разиня — когда он переходит улицу, не замечая проезжающей машины; шофер, который видит в нем смертельного и ненавистного врага, чуть не наехав на него, в сердцах говорит мне: таких людей я бы уничтожал! — В этот миг это измерение («разиня») представительствует за всего человека — и так это всегда: в любой ситуации, которыми функционирует жизнь общества отчуждения, человек — весь тождествен одному измерению. А в целом он есть сумма бесконечного множества абстракций. Анкета и есть такая воссоздаваемая целостность человека, собирающая в одно его основные, с точки зрения общества, измерения.

Итак, возвращаясь к нашему уподоблению, общество отчуждения, выстраивая человека как целостность, — никогда принципиально не перейдет предела, за которым многогранная фигура превратится в шар (сколько бы ни дробить и ни увеличивать число составляющих ее простейших или сложных фигур).

Следовательно, то, что человек все же не превращается в составной механизм, а есть всегда — пусть изуродованный, со вмятинами, но организм, неправильное тело, целостность, «шар», — и дается ему какой-то другой силой, полярной силе общества отчуждения. В измерениях логики последнего эта сила называется началом хаоса, противящимся порядку, разуму, — стихийным, природным, иррациональным, мистическим и т.д. Это так, потому

¹ Идея энтропии в современном естествознании то же выражает, лишь иными словами: механический порядок есть источник хаоса и дезорганизации бытия — и смерти, в конечном счете.

что сам разум отчуждения здесь обнаруживает свою ограниченность и, как мальчик, что бьет стол, о который он ударился, — обвиняет и обзывает нехорошими словами это препятствие. Но «закрыть Америку» — «сие от него не зависит».

Итак, первое определение этой искомой силы, которое сразу бросается в глаза, — дано ей ее целью: сохранить индивида как целостность. Это и есть ее главное содержание. Эта сила, в противовес давлению общества на индивида, обозначаемого как «надо», — есть изнутри идущее стремление и обозначается языком общества как «хочу». (Но учтем, что здесь еще новое, искомое выступает не в своих, а в старых, отчужденных определениях и характеристиках, на языке «логики вещей» выраженных.)

Итак, «хочу» (суть которого, хотя человек в каждый момент хочет разного, единичного, — всегда: «хочу быть самим собой, целостностью») как противодействие индивида разрывающей его на частички силе общества отчуждения — и есть тот исходный источник различий, который может родить в своем развертывании богатый и разветвленный мир Человекобытия.

В «На дне» это «хочу!» в чистой и еще бессодержательной форме предстает в образе Алешки. Он выражает мощь этой своей молодой жажды положительного бытия через истерическое самоотвержение, отрицание всех желаний: «А я такой человек, что... ничего не желаю!»

Рассмотрим внимательнее, как рождается такое определение себя. «Я — человек с характером...» — заявляет Алешка сначала. Характер и есть одна из ипостасей, в которых целостность человека обозначается в терминах общества отчуждения. Ну, а если пойти дальше, к выявлению сути этого характера: что же составляет содержание его «Я»? (О! Ужас! ловлю себя на том, что движусь, действую теми же отчужденными ходами мысли, как та же Василиса в расспросах Луки. Да, не надо вопросов ставить; это — предвзято и не даст знания нового. Лучше послушаем, что человек открывает о себе сам, и вдумаемся в это):

«Я — человек с характером... А хозяин на меня фыркает... А что такое — хозяин? Ф-фе! Недоразумение одно... Пьяница он, хозяин-то...»

Итак, чтобы познать себя как целостность («характер»), человеку сразу нужно оттолкнуться от давящей на него силы. Но поскольку себя он ищет понять как человеческую целостность, то и сила общества в этом отношении уже не может выступить безлично, а тоже как человеческая целостность. Здесь она предстает Алешке в облике человека, от которого он зависит, — хозяина. Следовательно, начать самовыявление (самопознание) себя в Человеке можно через определение этого другого человека, воплощающего в себе нажим силы отчуждения, — как анти-Человека, ничто, несуществование, просто «Ф-фе!» — звук пустой.

И уже на помощь сюда потом по инерции влачается бранные определения из отчужденной логики вещей: «недоразумение», «пьяница» и т.д.

«А я такой человек, что... ничего не желаю!»

В этом Алешка, кажется, сравнивается (в смысле — «становится таким же») с Сатиным и Бубновым, достигает их нирваны небытия, свободы от устремленности к каким-либо целям.

Но зачем же кричать об этом так надсадно? Бери пример с мэтров небытия! Ни Сатин, ни Бубнов об этом не говорят, а просто живут, ничего не желая. И вот как только это «ничего», «не хочу» выступило в этой форме — в истощенном крике Алешки, это уже означает саморазоблачение жизни на дне (небытия, чисто отрицательного существования) как формы жизни естественной, будто бы присущей Человеку.

Нет, такое существование — есть предел противоестественности, абсолютно враждебно человеческой природе. «Не хочу!» как крик — есть могучее и страстное: «хочу!», тяга по положительному проявлению человека.

«Ничего не хочу и — шабаш! На, возьми меня за рубль за двадцать! А я — ничего не хочу! И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой... пьяница, не желаю! Не хочу!»

Ах, вот оно, оказывается, что! Себя человек чувствует хорошим (хотя доказать этого не может, ибо доказать можно лишь через отделившийся от человека предмет, поступок — т.е. вещь). И первая конкретизация его «не хочу ничего» — чистого отрицания желаний — есть положительное желание: хочу, чтобы мной не командовал хозяин...

Итак, первое «хочу» человека как основа, на которой будет строиться мир на новых началах Человека, — есть выпрямление его «я», утверждение в качестве источника силы и деятельности — энергии, идущей из «я». Пусть она еще не ясна ему самому по своему содержанию, но первое условие будущей свободной творческой самодеятельности человека состоит в том, чтобы он почувствовал доверие общества к этой его силе, удостоверение ее как общественно значимой, — заведомо, априорно, без доказательства, без проверки, без еще вышедших из нее фактов, дел и т.д.

«Лука (добродушно). Эх, парень, запутался ты...»

И вот вся деятельность Луки далее будет заключаться в том, чтобы помочь людям распутать себя, свою сущность. Но недаром с ним, с Алешкой, Лука говорит «добродушно»: уже тем, что в нем так мучительно рвется наружу желание, — Алешка отторгнут от сатинско-бубновской нирваны небытия и принадлежит миру живых. Для Бубнова же этот великий и прекрасный порыв человека к положительной жизни есть просто: «дурость человеческая». Ну, что же, если это — неумно, то, значит, сам

бубновский ум, как и логика отчуждения (ум Бубнова есть ее alter ego — софистика), проскальзывает через живую жизнь, не улавливая и не понимая ее (потому она — глупа). Так пусть же такой ум и остается при своих козырях, самонаслаждаясь в пустоте своего искусственного, имматериального бытия: сколько ни сравнивай ум с умом — к познанию реальности не выйдешь. Ты отвергаешь жизнь как не умную, а она идет себе мимо — и не удостаивает такой ум быть его собственностью (т.е. быть умной).

«Алешка (ложится на пол). На, ешь меня! А я — ничего не хочу! Я — отчаянный человек!»

Это значит: человек ощущает себя свободным от чаяний (желаний). Да, он свободен (его освободили) от интересов и целей (чаяний) мира отчуждения. Но посмотрите, как он жаждет наполнения новым человеческим содержанием (хотя эта жажда выступает в словах — не тех, не своих, а из мира отчуждения взятых: в форме сравнения его с другими, «настоящими» людьми, пользующимися уважением, в которые он якобы должен выбиться): «Объясните мне, кого я хуже? Почему я хуже прочих? Вот, Медякин говорит: на улицу не ходи, морду побью! А я — пойду... пойду лягу середь улицы — дави меня! Я — ничего не желаю!»

Жажда Абсолюта: быть человеческой целостностью, единым, при себе, организмом, а не отчужденно-общественной частью, абстрактным измерением (здесь, например, человеком, которому нельзя пойти на улицу, иначе Медякин ему морду набьет) может выступить в обществе отчуждения в форме противоположной жажды: полного уничтожения себя как целостности, как тела — «дави меня».

«Настя. Несчастный!.. молоденький еще, а уж... так ломается...»

Так вот, если, по терминологии Луки, «люди» — уже не ломаются, ибо они переработаны обществом отчуждения в механизм, автоматически желающий общепринятого, — то «человеки» — те, в которых бьет родник вольной воли и самоопределения, выламываются как из общества отчуждения, так и из сатинско-бубновского небытия. Их, еще не полностью нивелированная индивидуальность топорщится, коробит отчужденные отложения и напластования на человеке — поэтому они, если посмотреть на них и попытаться объяснить глазами логики вещей, — уродливы, искореженные какие-то, выломанные. Такой уродливой выглядит Настя со своей книжной, «выдуманной» любовью; таким сумасбродом выглядит и Актер, мечтающий о лечебнице для «органонов», и т.д. Но эта их искореженность —

¹Другое я (лат.).

признак того, что в них пульсирует живая жизнь и препятствует спокойному действию силы отчуждения, деформирует ее.

И вот отсюда — из несломленной индивидуальности каждого человека — идет источник различия всего в том искомом мире на начале «Человек», который пытается строить Лука: «Он (человек. — Г.Г.) — каков ни есть — а всегда с в о е й ценой стоит...» Итак, нет единой, всеобщей «цены» людям, и пустое дело — ее искать. Точнее — она уже есть, предполагается в различии: «люди и люди». Но это еще пустое и бессодержательное различие, и не в том дело, чтобы его ко всем примирять, а чтобы на его основе идти и выявлять дальше: собственную цену — неповторимую индивидуальность каждого человека.

Итак, каждый индивид — источник особого качества, неведомого миру. Потому, если для участкового Медведева каждый человек — ясен («Я знаю — всех»): весь исчерпывается своим местом, и паспорт есть все, что есть человек, — то для Луки каждый человек есть X, неизвестность, влекущая загадку. «Все, миличок, — говорит он Сатину, — все, как есть, для всякого человека и лучшего живут! Потому-то уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?...»

Это и есть руководящая максима и в поведении с людьми, и в познании их: не следует предполагать в них заранее того или иного, ибо наше предположение может основываться лишь на логике вещей: на месте, которое человек занимает в системе общества, — и может сбить с толку, помешать разглядеть, что человек есть по истине. Вместо предварительного до-знания, вместо для всех равнозначной сетки координат (четко выраженной в пунктах паспорта и анкеты) — нужно расслабиться, на момент сделать свое сознание листом — без письмен, — и тогда в нем рождается специальная, лишь для данного человека подходящая система мыслительных улавливателей, которая в итоге и рождает в нашем сознании суть, правду этого человека, его правду, а не всеобщую.

«Я — знаю... Я — верю! — говорит Лука Насте, над рассказом которой о любви к ней Гастона потешается Барон. — Твоя правда, а не ихня... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит — была она!»

Для Луки этот ее рассказ есть откровение истинной сущности Нasti. Он есть правда о ней. И потому он — священен. Он ищет индивидуальную человекоправду и прозревает ее в том, что для всеобщей и «объективной» правды есть ерунда и ложь. Именно так рассуждает Барон: «Дедка! Ты думаешь — это правда? Это все из книжки «Роковая любовь»... Все это — ерунда! Брось

её!..» То есть если сознание Луки нацелено на то, чтобы от всеобщей, вне человека живущей «истины» (логики вещей) добраться, восходить к сокровенной, индивидуальной истине, то для Барона (для логики вещей) последнее есть лишь начало — ничего объективно не значащий момент, с которого следует идти в направлении мира вещей и его «реальных» фактов. С точки зрения последних, рассказ Нasti об идеальной любви есть ложь, сранда, обладает лишь нулевым или отрицательным (т.е. враждебным «истине») содержанием — ибо не соответствует общепочевидному факту: «Настя есть падшая женщина».

Для «человекоправды» рассказ Нasti, в котором выражена ее мечта, есть «факт», заслуживающий гораздо большего доверия, чем даже реально совершенный ею «благородный поступок» или в действительности с ней приключившаяся такого рода чистая любовь. Ибо поступок и реальный факт любви тут же могут отягощаться зависимостями и отношениями мира отчуждения (деньги, жилплощадь и т.д.) и исказить сущность человека. Точнее — в этой сфере нам гораздо труднее вынести истинное суждение о человеке, ибо к факту реальному мы подходим с критериями проверки, доказательства: мы смотрим, а так ли это было на самом деле? Мы ищем свидетелей, подтверждения со стороны, вне человека как стороны потенциально лживой — «заинтересованной» (само общество этим расписывается в том, что, войдя в Человека, интерес общества тут же начинает противостоять уже не только человечности, но и самому обществу), т.е. делаем шаги, абсолютно противопоказанные выявлению человекоправды, — шаги, от которых она съеживается, уходит в себя — и не обнаруживается. Ибо вся ее суть — доверие человеку: ведь он есть неизвестность и лишь сам может открыть себя миру, а шаблонные ключи и отмычки здесь не подойдут — лишь сломают драгоценный сосуд.

Следовательно, мечта человека дает его сущность в плане «человекоправды» — в более чистом, несмешанном виде, чем реальный поступок или деяние. Но и в мечте, как только она выражается в словах нашего «грешного» языка, может тоже улетучиваться неповторимая сущность, с в о я правда человека!

Итак, вообще этой сущности необычайно трудно проявиться: для нее нет еще, не выработано ни специфической формы действий, ни специфического языка мысли, слов. Потому так трудно людям понять себя и выразить то, что именно они хотят и могут. Это им приходится выражать косвенными путями. Так Насте на помощь пришла книжка «Роковая любовь», и если для логики вещей это пустая блажь, то Лука с первого же появления в ночлежке, как старый боевой конь, засыпав клич трубы, навостряет уши и, «ловец человеков», ловит человеческое.

Лука выступает как повивальная бабка, помогающая разродиться этой священной для мира сути каждого человека, этому

заведомо удивительному, еще не ведомому ни миру, ни себе — Х, который, может, одарит человечество великими делами и мыслями. Он помогает людям найти себя, свою мечту, поверить в себя, т.е. совершить величайшей важности переворот в их бытии: чтобы они жили не автоматически, по воле обстоятельств и мест, которые их завели и приковали к себе, а сдвинулись с места и жили бы из себя. («Сатин. Старик живет из себя... он на все смотрит своими глазами».) То есть если до сих пор источник движения, содержания жизни таился в окружающем мире вещей: оттуда люди черпали и цели, и мысли, и слова — то теперь они сдвигаются с места: в них самих зарождается импульс, энергия, которой лишь и может быть выстроен принципиально новый мир человека.

Но не слишком ли мы преувеличиваем результаты действий Луки? Допустим, что таково направление и цель его действий. Но чего и в каких формах он реально достигает?

Вот первое его общение: с умирающей Анной. Что-то очень уж банально и убого его деяние: навеял ей сладкий сон об успокоении после смерти. Ну, чего здесь нового? Любой священник тысячу раз делал подобное. Подобное ли? И так ли уж незначительно то, что сделал для нее Лука? Вдумаемся-ка поконкретнее в ситуацию Анны. Ведь ей предстоит смерть, т.е. последний и высший акт человеческого существования, — дело, перед которым стушевываются все дела, в которых могут проявить себя Человеками и Сатин, и Актер, и Васька Пепел, и др. Все эти дела «терпят», ждут и, если не на этом — так на другом человек еще сможет выявиться в своей истине. Но это есть необратимое — т.е. не дающее переэкзаменовок испытание человеческого в человеке: насколько жизнь сделала его Человеком из животного. Разве это безразлично и одно и то же: умрет ли человек как затравленный зверь — в корчах боли и страха, в ненависти к жизни; будут ли его последними деяниями: вопли, проклятья; а последними актами сознания: страх, животная ненависть к остающимся жить людям, — или он и на это все сможет наложить печать своей человеческой индивидуальности, характера, последним актом воли и сознания сумеет согласовать бытие с собой и в этой гармонии с миром — истаять; и смерть — это абсолютно родовое и безличное — сумеет превратить в акт своей свободной воли, так что Она будет лишь его, неповторимая?

Разве безразлично это? Ведь люди видят смерть, делают те или иные выводы о смысле жизни и своем месте в ней. Наташа оцепенело смотрит на умершую Анну, а кругом слышит:

«Бубнов. Кашлять перестала, значит. <...> Надо Клещу сказать... это — его дело... <...> Татарин (Клещу). Надо вон тащить! Сени надо тащить! Здесь — мертвый — нельзя, здесь — живой спать будет...»

И сквозь эти «деловые» реплики ведь в каждом шевелится мысль, которую высказывает Наташа: «Вот и я... когда-нибудь так же... в подвале... забитая».

Зрелище такого отношения к смерти не только не может вызвать в живущем идею и образ Человека, а скорее подавит в нем все человеческое, оставив лишь животную живучесть, и уже о себе (а не об умершем) будешь думать как о бездомной собаке, а не Человеке.

Вот почему то, что делает Лука для Анны, во всяком случае есть, во-первых, акт священного уважения к человеку и его существованию. Но самое-то главное, что благодаря ему и разговорам с ним Анна умирает как существо индивидуальное, впервые в жизни, может быть, постигает себя, свою правду. Если до появления Луки она может лишь издавать стоны («Душно!») и бросать время от времени мольбы во всеобщий гвалт и ругань: «Каждый божий день... дайте хоть умереть спокойно!» — т.е. полагая условия чаемого покоя в обстановке вне себя, от нее не зависящей, — то в беседах с Лукой впервые она живет как человек, одаренный мыслью и самосознанием: начинает понимать и жизнь, и себя в ракурсе какого-то высшего представления о Человеке и смысле бытия. Ее рассказ Луке о своей тяжкой жизни — это уже не просто жалобы: «Побои... обиды... ничего кроме — не видела я ... ничего не видела! <...> Не помню — когда я сыта была... Над каждым куском хлеба тряслась... Всю жизнь мою дрожала... Мучилась... как бы больше другого не съесть... Всю жизнь в отрепьях ходила... всю мою несчастную жизнь... За ч т о?»

Это есть уже мышление о себе и должно говориться спокойно. Ни с мужем Клещом, ни с Бубновым и Сатиным — такого осознания себя и своего призвания в жизни: быть безропотной страстотерпицей, привыкшей всегда жертвовать (так, например, в первом акте она отдает Клещу пельмени, которые ей оставляет Квашня), — у нее не могло родиться. И то, что ей высказывает Лука, — это то, что она сама теперь думает о себе, понимая свою жизнь как не бессмысленно протекшую, а исполненную какого-то высокого человеческого значения:

«Призовут тебя к господу и скажут: господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя, Анна... (это по сути все люди в его лице так добро и благожелательно должны были к ней относиться при ее жизни, но ни они, ни она не знали, что она — такая, ибо меряли ее глазами логики вещей, а не человекоправды)... А господь — взглянет на тебя кротко-ласково и скажет: з н а ю я Анну эту! (не по паспорту, как ее «знает» полицай Медведев, и не по кашлю, как ее «знает» Бубнов, — т.е. не абстрактно, а так, как она сама невысказанно знает себя, — полно, конкретно). Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай! Пусть успокоится... знаю

я, жила она — очень трудно... очень устала... Дайте покой Анне...»

То есть пусть под формой религиозных мыслей о посмертной жизни (в таких уж формах лишь может двигаться сознание забитой Анны, и не вести же с ней перед смертью просветительные атеистические беседы о том, что загробной жизни нет, а от человека остаются лишь атомы и молекулы; что и бога тоже нет. Но с точки зрения человечества в целом именно так оценивается жизненный путь Анны, и теперь она спокойно может отходить и влияться в его, человечества, бесконечную жизнь) — пусть под формой религиозных мыслей в умирающем человеке пробуждается самосознание, чувство своего «Я», любовное мышление о человечестве, — и устанавливается гармония с бытием. Для Анны счастье и радость представляются как покой, которого она в жизни никогда не знала. И Лука, как медиум, чуткой мембраной своей души тотчас улавливает этот невысказанный сигнал ее души — и, настроясь в лад с ней, говорит ее словами, ее правдой. И, как всегда, эта ее индивидуальная правда оказывается и общезначимой; только пока она ей лишь видна и открыта абсолютно: правда о гармонии, примирении человека с людьми, с человечеством.

Ее, эту индивидуальную правду, не дано еще постигнуть как всеобщую — Ваське Пеплу — да и не нужно: именно благодаря этому непониманию положения и правды Анны (смерти) он носит в себе другую индивидуальную и всеобщую для людей правду. Правду Анны он воспринимает как субъективную. «Произвол», «ложь» — так бы он оформил это свое восприятие в понятиях логики отчуждения: у него, как и у Анны, роковым образом иного нет языка для формирования своих мыслей и понимания и себя, и другого. Прислушиваясь к тому, что говорит Лука Анне, он с сомнением замечает: «Верно... а может, и — не верно!» Но, погоди немного, Вася. Скоро и ты, незаметно для себя, заговоришь вещи, которые покажутся иллюзией, блажью другим (Бубнову, например), — но которые будут выявлением той индивидуальной всеобщей правды, которую носишь в себе ты, — правды о вольной, здоровой трудовой жизни, которой пристало жить добру молодцу в России — с ее нетронутой целиной Сибири, которая ждет золотых рук таких вот людей. И им хорошо ехать туда, в новую жизнь, с такой вот «молодой елочкой», что «и колется» — «а сдерживает», как Наташа: «Пепел (решительно). Опять я... снова я буду говорить с тобой... Наташа... Вот — при нем (Луке. — Г.Г.)... он — в с е з н а е т... (Он сумел раскусить твою индивидуальную правду — но это значит и на самом деле, что он «в с е знает»: не только про тебя, но и про всех людей, ибо твоя судьба живет как возможность для всех людей, есть индивидуально-всеобщая.) Иди... со мной! <...> Я —

грамотный... буду работать... <...> Надо — так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать...»

Вот она — всеобщая норма поведения в жизни. Пепел заговорил языком правил: «надо», — которым до сих пор говорили уверенные в своем знании жизни и себя люди: Медведев, Костылев. Но теперь в этом языке максим — иное, неотчужденное содержание. Чтобы найти именно свою форму (дорогу в) жизни, — как раз и нужно в познании открыть именно индивидуальную, неповторимую свою сущность. Тогда-то и можно будет реализовать ее в соответствующей ей форме жизни. Ибо живя «как все» — я тем самым уважу общество, но не за что мне будет уважать именно с е б я: моей здесь заслуги нет, себя-то я и не выявил.

А выявить эту свою сущность можно лишь как мою истину. И лишь на основе доверия себе она может быть каждым понята. Но настолько велик гипноз логики вещей, что люди ищут правды лишь вне себя, правды само собой бытующей. И когда она, их собственная сущность и мечта, является им, они не верят ей, а уличают ее в обмане. Так Пепел, когда Лука в первый раз выдвинул эту идею именно ему подобающего образа жизни: уехать отсюда в Сибирь, по доброй воле, — заподозрил Луку в непонятной ему по мотивам лжи:

«Лука. А хорошая сторона — Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе да разуме, тому там — как огурцу в парнике! *Пепел. Старик!* Зачем ты все врешь? (ср. потом: «о н — все знает») <...> Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь — врешь! на что?»

Вот она, логика вещей: она привыкла определять человека местом, и потому месту присущи различия, атрибуты: хорошо или плохо — и не может везде быть хорошо: в одном месте — хорошо, а в другом (Сибири, например) — плохо. Лука же вообще отмечает такое измерение и утверждает, что человек с собой носит «хорошо», и одно и то же место — разное (Сибирь — каторга — или «золотая сторона»), есть функция «я», воли: неволей или волей является человек на это место. И если человек нашел себя — ему везде хорошо: он красит место. Потому весь мир — хорош.

Эта логика пока непонятна Ваське Пеплу. Он ищет за словами Луки задней мысли: вещи (цели), которую он через него (Пепла — человека) хочет добиться. Пепел привык, что человек и его «я» есть лишь средство, и не умеет смотреть на себя как на достойную цель, и все спрашивает: «н а ч т о?» (на какую вещь), «з а ч е м?» — за какой вещью, таящейся за Васькой (к которой прилеплен, как к месту), Лука охотится? Это ввергает его в логическое смятение — неясность (а раньше был мир прост и понятен):

«*Пепел.* Не понимаю я... спасибо тебе сказать (Лука завозился на печи, когда Васька сгоряча схватил Костылева за

горло, — чем, быть может, предотвратил убийство хозяина и каторгу Ваське), или ты... тоже... <...> Не поймешь людей! Которые — добрые, которые — злые?.. Ничего не понятно... (Это Лука нарушил в нем сцепление старой логики вещей, классифицирующей людей по целям, вещам и дающей им на их основе четкие определения, признаки: которые суть добрые, которые суть злые.) Лука. Чего там понимать? (т.е. не в том, чтобы понимать человека, — задача и трудность, а в том, чтобы предварительно, и не зная его, — уже ценить, уважать, — и тогда он сам собой раскроется и будет понятен¹). Всяко живет человек... как сердце наложено, так и живет... сегодня — добрый, завтра — злой...» (т.е. эти признаки поверхностны, не улавливают сути человека, которая лежит в другом измерении).

Правдоносная «ложь»

В обоих случаях: с Анной и Васькой Пеплом — Лука, собственно, ничего особенного нового не открывает в самом бытии: той он рассказывает сказку о царствии небесном, «перепетую не раз и не пять»; этому предлагает ехать на освоение Сибири, что уже тогда, в начале XX века, осуществляли в России сотни тысяч поощряемых государством переселенцев. Еще и того беднее «идеал», который он пробуждает в Актере, — бросить пить. Все эти душеспасительные идеи, если посмотреть на них абстрактно, сами по себе — тривиальны и непрерывно являются людям, как требования со стороны: пить — вредно; работать в Сибири — выгодно и для государства, и для тебя; верь в лучшее будущее и т.д. Нет, ничего нового не открывает Лука в мире вещей и идей.

Зато он делает большее: он раскупоривает человека, открывает его самому себе — и, следовательно, миру. Неважно, что первые из себя порожденные людьми желания, цели носят еще такой бедный характер, — важно, что они возникли принципиально иным путем: не как навязывание человеку требований со стороны («надо»), а как изнутри пульсирующая самодеятельность «я» — как «хочу». Так что затем это «хочу» обретает твердость всеобщего

¹ В обществе же отчуждения, напротив, человек заведомо предполагается подозрительным, виновным во всем; и лишь через и после процесса узнавания, когда паспорт, удостоверение и прочие доказательства из неведомого и опасного Х превращают человека в известное, знаемое, такое же, как все, — тогда лишь может идти речь о том, чтобы его уважать и ценить. Знание (узнавание) и есть словно отпущение человеку заранее предполагающихся в нем первородных грехов. После этой лишь проверки и он, и познающие его люди могут друг другу улыбнуться и облегченно вздохнуть: гора подозреваемых в человеке зол — рушится.

принципа жизни: ведь не кто иной, как вор Васька Пепел, заговорил в итоге языком «надо»: «Надо жить так, чтобы самому себя можно было уважать».

То есть это и есть тот искомый новый принцип организации бытия, исходящий из человека, основанный на его свободной творческой самодеятельности. А то, что форма, материал, в который эта самодеятельность на первых порах отливается, носит не новый и часто еще такой бедный характер (как то, что мы видели у Анны, Пепла, Актера), так это потому, что во-первых, Человек живет в людях, несвободных от общества отчуждения, с рождения пропитанных его нормами быта и мысли. Во-вторых, творческая активность его «я», чтобы выльиться в предметной форме, — должна так или иначе отнести к наличной жизни, ее предметам и идеалам, и из этого материала создать свою действительность. А в-третьих, — и это главное — само наличное бытие является собой неисчислимое богатство созданных творческим разумом человечества прекрасных вещей, установлений, законов, идеалов, машин, наук, искусств, форм общежития и т.д.

Сама по себе действительность совсем не есть нечто бессмысленное и извращенное — таковым она выступает лишь в формах отчуждения. Если же ток бытия польется из Человека, тогда все это заживет человечески осмысленной жизнью и обернется красотой и благом. Так что новому «человекомиру» незачем отрекаться от наличного бытия — нужно лишь прозреть живущую в нем разумность, исполниться доверием к нему — тогда и я наполнюсь человечески-осмысленным содержанием и, собственно, и открою впервые в себе Человека.

И наконец, конкретная форма, в которую выльется проснувшаяся творческая самодеятельность Человека, — есть уже вопрос второй степени важности, по сравнению с самым актом пробуждения этой, изнутри идущей активности, основанной на доверии себе. Ее специфическая природа как раз в том и состоит, что ей нельзя точно предугадать (и познать) форму и дорогу: их она сама должна найти себе — и подарить миру. И если Клещ сетует на «старика» (Луку), что он «поманил их («сожителей». — Г.Г.) куда-то... а сам — дорогу не сказал», — то он этим выразил лишь начальную ступень пробуждающегося самосознания, которое уже чутко улавливает зов вдаль (=«вблизь», ибо — к себе), но нуждается еще в помочах, чтобы сделать первый шаг.

Они (помочи) нужны именно для первого шага на искомом пути; дорогу же каждый должен найти, «сказать» сам. И призвание Луки в том, чтобы начать в жизни это принципиально новое движение, чтобы перевернуть образ жизни человека и бытия: вызвать в людях ток самодвижения изнутри. Притом сделать это он старается — нарочито самым пустым, банальным словом, которое бы в будущем не обязывало пробуждаемого человека придерживаться именно этого конкретного содержания

совета, цели (чтобы он, пробудившись, опять не оказался связан в поисках своего пути верностью «заветам» учителя). Лука подсказывает элементарную форму-опору для первого самостоятельного шага в жизни, чтобы далее опрокинув ее, эту форму-опору, — человек шел бы сам, своим путем.

Сверхчеловек Сатин высокомерно третирует эту первую помощь людям: «Сатин (смеясь). И вообще... для многих был... как мякиш для беззубых... Барон (смеясь). Как пластырь для нарывов...»

Лука не бросает людей сразу в реку, чтобы они сами научились плавать по принципу естественного отбора сильных и слабых. Для Луки нет этого животного, абстрактного для человека деления; оно у него более содержательно и человечно: человек «каков он есть — а всегда своей цены стоит...». И вся задача человека: выявив свою цену, открыть для человечества новый всеобщий принцип «цены» (оценивания) человека. А деление на сильных и слабых есть априорное правило оценки человека, которое заранее перерезает возможность проявиться в будущем как раз новой, его, индивидуальной сущности («цене»). По этому принципу человечество не имело бы ни Гоголя, ни Канта — ни других творцов, болезненных в детстве, когда не видно еще было своей «цены» этих людей, а видно уже было, что они не дотягивают до цены «сильных».

Следовательно, помочь людям встать на ноги, пробудив в них веру в себя, есть великая и сложная задача; и «ложь» (т.е. то, что выступает ложью, фантазией с точки зрения логики вещей) для этого первого акта может явиться стократ более правдоносной (чреватой в будущем индивидуальной человекоправдой), чем та абстрактная правда, на устойчивость к которой Сатин и Бубнов предлагают сразу выверять человека (как крестить его в проруби): «По-моему — вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?» Но ведь в том-то и дело, что живущая в отчужденном мире правда есть самозванка, но силой логики неотразимо бьет людей и мешает им преодолеть рубеж, перейдя который они могли бы начать верить в себя, уважать себя. И прав Лука, говоря Пеплу: «И... чего тебе правда сильно нужна... подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя... Пепел. А мне все едино! Обух так обух... Лука. Да чудак! на что самому себя убивать?»

Ведь большего и желать не может логика вещей: чтобы люди, окончательно поверив в нее, самоуничтожались физически или духовно, т.е. навсегда отрезали путь к возрождению человечества через «человекоправду». Эта логика, напротив, подначивает человека на самоубийство веры в себя, всячески разукрашивая его неверие в себя девизом: «Надо мужественно смотреть правде в глаза», т.е. принять правду логики вещей как абсолютную данность, предел, его же не прейдеш.

Вот почему, в противовес абстрактному требованию правды, новый принцип больше дорожит жизнью человека. Сохранить жизнь человека, не причинять ему пустых страданий — с этой стороны выступает как цель и задача более существенная и содержательная, чем проверка его на устойчивость каленым железом абстрактной правды: ибо живой человек всегда, до последнего момента (как мы видели в Анне), есть источник, потенциал неведомой еще миру человекоправды, которую он скажет, может быть, даже тем, как он умрет. И Горький неоднократно и полемически рисует ситуации (ср., например, «Болесь»), где человек, самодовольно вещающий «правду», разрушающий иллюзии, выступает как низший и более пустой экземпляр рода человеческого, чем человек, который чутко улавливает, чего хочет слышать, чтобы оно было, собеседник, — и высказывает ему это как объективную правду. Для матери сын всегда будет жив, как бы ей ни доказывали повестками и бумажками, что он убит. И представим себе человека, который, прия к ней, начал бы опровергать это ее знание, с фактами в руках доказывать, что нет, ее сын был убит там-то, и он был тому очевидец...

Так и в романе «Мать» Андрей Находка справедливо высмеивает «жилетку», которую надевает на себя рассудочно-железный человек Павел Власов, систематически дрессирующий мать, чтобы она привыкла к мысли о том, что всем им — один конец: тюрьма, ссылка и смерть.

Воскрешение личности в человеке

Диалектика лжи и правды особенно ясно и богато выступает в истории с Актером. На поверхности, воплощением его «я», пробудившегося с помощью Луки, предстает лечебница для «организмов, отравленных алкоголем», — и Лука, собственно, только об этом ведет с ним речь в своих беседах; на более отвлеченные темы, как даже с Васькой Пеплом («Есть ли Бог?»), — они не говорят. Между тем, « побочным » и косвенным итогом пробудившейся в Актере с помощью фантастического образа лечебницы надежды на выздоровление было нечто гораздо более значительное: Актер вспомнил, наконец, «любимое» (стихотворение), а с ним и имя свое — «я»; и о себе, возрожденном, полном силы, воли и веры в себя, заговорил уже высоким языком: «Он уйдет!»

Еще в первом разговоре с Лукой Актер предлагает ему прочесть стихи, вспоминая, как он читал их под гром аплодисментов: «Бывало, выйду, встану вот так... (Становится в позу.)

Встану... и... (Молчит.) Ничего не помню... ни слова... не помню! Любимое стихотворение... плохо это, старик?

Лука. Да уж чего хорошего, коли любимое забыл? В любимом — вся душа».

Потеря Актером памяти есть потеря своего «я», того содержания, которым оно наполняется. Никакое движение не может родиться из этого «ничто». Актер к моменту появления Луки находится в еще более безнадежном состоянии — прострации, чем Анна, Васька Пепел и др., ибо у него уже нет стремлений и желаний; и он приближается к идеальному ничто — той нирване, в которой постоянно пребывают Бубнов и Сатин. Возродить к самодеятельной жизни такого обессилевшего человека есть архитрудная задача. И Лука здесь верен своему принципу: выявить и высказать как то, что есть, как объективно существующее, — то, что человеку хочется, чтобы оно было, — и тем самым любыми средствами стимулировать заснувшую пульсацию внутреннего существа человека. Он чутко улавливает последнее, еле теплящееся «хочу» (мечту, желание) этого человека — и кладет на этот нерв раздражающий наркотик.

Этой последней сферой, где еще протекает индивидуальная деятельность человеческого «я», вытесняемого из окружающей действительности, является сфера воображения. И это лишь логика вещей высокомерно третирует ее как низшую — сферу пустых забав и бессмысленных, бесполезных блужданий сознания. Воображение — гигантский сгусток энергии. Это есть не просто отвлеченное познание («чистый разум»), где человек пассивен, растворяется и лишь принимает в себя готовую всеобщую истину, — нет, это — волевое сознание, познание, слитое с «я», энергично преобразуемое его характером. И здесь —корень, кухня, где в брожении всего изготавливается индивидуальная человекоправда и тот свой импульс и форма деятельности, которую потом человек сам проложит в мир.

С другой стороны, в этой сфере таится и опасность: ибо когда интенсивная деятельность воображения преодолеет предел упругости, которая своей энергией выталкивает мечтающего человека в область практической деятельности, — тогда стенки этой сферы теряют эластичность и все вытягиваются и вытягиваются в бесконечность, не оказывая ответного сопротивления. Здесь воображение перестает быть волевым сознанием, а становится духовным наркотиком для усыпления воли и чувства реальности.

Но значит ли, что, имея в виду эту опасность, Лука должен был отказаться от своего призыва: будить индивидуальное «я» человека через подтверждение его мечты, его «хочу»? Раз на раз не приходится, конечно, но все же это — единственный путь начать переворот в образе жизни человека: укрепить его

веру в себя, которая затем сама уже поведет человека за собой, без подсказок¹.

И Лука «навевает» Актеру «сон золотой»:

«Лука. Ну, чего? Ты... лечись! От пьянства нынче лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечат... такая уж лечебница устроена для пьяниц... чтобы, значит, даром их лечить... признали, видишь, что пьяница — тоже человек... и даже — рады, когда он лечиться желает! Ну-ка, вот, валяй! Иди...»

Вот тайна веры в себя и в будущее; она должна выступить как наличное доверие мира к тебе («рады», «признали»). И если это не так в мире отчуждения, этой частичной форме человеческого бытия, — то это так во всеобщем глубинном бытии человечества, в мире человекоправды: там, с его точки зрения, каждый человек есть создание таинственное, дивное и прекрасное, заслуживающее абсолютного доверия. И Лука, поскольку он действует в мире человекоправды и стремится по одному переселять туда людей (в романе «Мать» Горький покажет форму, в которой люди не по одному, а коллективно, общиной могут подниматься в этот мир — так это и легче, и реальнее), — не лжет, когда говорит, что рады человеку, уже признали, что пьяница — тоже человек: это не в будущем случится, а так это в действительности и есть: что «пьяница» — ярлык, под которым живет «человек». И в этом случае — сначала различие (определение) человека по месту и вещи: «пьяница» — должно растопиться во всеобщем: «человек». Подобно этому и Клещ — «рабочий человек» должен был отбросить частичный, уродующий его атрибут: «рабочий» (который желал смерти его жены) — и вернуть себе полную меру своей сущности как Человека. Лука выявляет в людях глубинное желание, стремление к братству и равенству («хорошо это — чувствовать себя» — не актером, бароном, рабочим и т.д. — а «человеком») и производит это поравнение. Все сначала должны возвратиться в лоно своей исконной сущности: как Человека — чтобы оттуда уже начать новое саморазличение людей: не как пьяниц, баронов и слесарей, а на основе другого принципа.

«Актер (задумчиво). Куда? Где это?»

Автоматизм отработанного сознания побуждает людей мыслить в формах лишь пространства и времени (по Канту, они — всеобщие априорные, обществом в человека врожденные формы сознания). Актер не может перенестись в принципиально иное измерение и помыслить, что этот «город» и «лечебница» — в нем самом, в его воле, — но ищет места, где они вне него, сами

¹Хотя, разумеется, здесь всегда остается опасность: ибо самодеятельность заквашена не совсем здоровым образом. И первый шаг, стимулированный поддакиванием, может не быть преодолен, а так и предопределит собой последующие.

по себе находятся. А такового нет — ибо вся суть бытия и из человека: что ничто не живет, не находится и не мыслится само по себе.

«Лука. А это... в одном городе... как... его? Название у него эдакое... (Воистину: «дело не в названии», т.е. знании слова, — «было бы желание», т.е. воля, — как поется в одной нынешней песне)... Да я тебе город назову!.. Ты только вот чего: ты пока готовься», (Лука, как лиса, петляет: успокаивает и запутывает отчужденную логику «называния» — и незаметно переходит к формированию «логики» желания, т.е. «возвзвания» человеком своей сути.) Воздержись!.. возьми себя в руки и — терпи... А потом — вылечишься... и начнешь жить снова... хорошо, брат, снова-то! Ну, решай... в два приема...»

Зачем такая спешка, торопливость Луки? Почему он не предлагает ему сначала трезво подумать, солидно и основательно взвесить все «за» и «против», а потом уже решаться? Ведь так это принято делать в жизни: «быстрая сука слепых рожает» — гласит здравый смысл народной болгарской пословицы. «Семь раз отмерь — один отрежь» — это совершенно верно в применении к вещи: е-то можно отрезать лишь один раз. Поэтому-то для нее рожденная логика и преподносит нам эту мудрость, по которой решение, что принимается, имеет целью удобное бытие вещи, в ее интересах (не кромсать же ее величество вещь семь раз, отмеривая лишь один раз!).

Но ведь в мире человекоправды решение жить из себя, по своей мерке («один раз и навсегда отмерь!») — есть необходимая база того, что потом человек, уже ища себя, начнет искать и сменять разные формы жизни (как Фауст), пока не найдет свою... Во всем цикле этих поисков — в семикратном «отрезании» себя — он и реализует то, что составляет в сумме его сущность.

Так и Актер: если «раз», сразу решившись, «отрезав» прошлое бытие, встанет на этот путь, то сначала он уцепится за первую «отмерку», подсказанную ему Лукой (воздержание от пьянства как подготовление к лечебнице для «органонов»), а потом начнет находить и свои «отмерки» и измерения — такие, в частности, о которых Лука и подозревать не мог бы, красоте и смыслу которых он сам даже не был бы доступен. Так, для Луки поэзия, театр и проч. — есть, как для толстовца какого-нибудь, нечто совсем пустое и непонятное, блажь — и когда Актер предлагает Луке почитать стихи, тот непонятливо переспрашивает:

«Лука. Стихи-и! А на что они мне, стихи-то?..

Актер. Это — смешно... А иногда — грустно...» (А Лука, как чистый дух всепознания, проходящий через разные пласти жизни и типы людей, конечно, все может допустить и понять —

но не пережить; и эстетически-эмоциональные измерения: «смешно» и «грустно» — ему недоступны.)

Так вот, решать надо — и можно — только сразу — не отдаваясь на предварительное растерзание спутывающей логике, заставляющей человека сверяться не с собой, а с «объективным положением вещей». Никогда так свободного, творческого, индивидуального решения не примешь.

И Лука использует этот момент, когда пробужденные воля и мечта человека взяли верх над рабской трусостью у логики вещей и принципа доказательств, чтобы — как Мефистофель — подписать договор, скрепить его кровью души, — договор на веру человека самому себе.

«Актер (улыбаясь). Снова... Сначала... Это — хорошо... Н-да... Снова? (Смеется.) Ну... да! Я могу?! Ведь могу, а?»

Это по форме — вопрос к другому, но он уже удостоверен интонацией: «!?» Актер почувствовал, что хочет этого неодолимо, но «хочу» выступает пока под «могу»: он не привык думать в плане: «хочу», а лишь в плане: «что я могу?» (т.е. что мне позволено?). И вот Лука и выявляет эту первичность и мощь «хочу»:

«Лука. А чего? Человек — все может... (здесь уже «может» — не в смысле внешней возможности: англ. — may, а внутренней способности: англ. — can) лишь бы захотел...»

Лука сначала удостоверил, открыл Актеру, что он, бывший актер и пропойца, есть — человек (то есть возвел его во всеобщее), и после этого шага Лука уже может говорить ему, что именно он может — под формой максимы о человеке вообще: Актеру важно лишь почувствовать себя человеком — и тогда остальное приложится. И хотя Актер через минуту вспоминает окружающий его ужас и вновь становится угрем, но сдвиг уже произошел.

«Актер (вдруг, как бы проснувшись). (Человек изгнан и загнан из действительности — в сон; он не обладает явью, он есть иллюзия.) «Ты — чудак! Прощай пока! (Свистит). Старичок... прощай... (Уходит.)

Эти ласковые: «чудак» и «старичок», и «пока» — как раз и означают, что лед — тронулся. Внутренняя работа выпрямления в Актере Человека началась и идет уже сама собой (больше у Луки с Актером разговоров нет). И вот результат: человек в Актере вспомнил «любимое» (в котором «вся душа»):

Господа! Если к правде святой

(не просто «правде» — а святой, т.е. человекоправде)...

Мир дорогу найти не умеет

(следовательно, правда — не в наличном «мире» отчуждения — так, что ее можно познать внутри него, логикой вещей, — но она, как цель, лежит в другом измерении бытия).

Честь б е з у м ц у, который навеет
Человечеству сон золотой.

Он, безумец, — не умен, ибо не «логикой вещей» орудует — чем изощренно казуистически орудуют Яго, юристы и иные мыслители, чувствующие себя в мире отчуждения и его логике, как рыба в воде, — они его непременно собьют и запутают хитро расставленными сетями вопросов. Зато и им непонятна логика, по которой движется его мысль, ибо она — «не от мира сего», а от мира человекоправды.

Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло,
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь...

В этих стихах идея пьесы дана совсем прямо, в лоб. «Святая правда», которая находится вне мира отчуждения и его измерений, в то же время всегда есть, разлита в бытии и людях; но в критериях и координатах общества и его логики — она неуловима, выскользывает в своем качестве правды — и предстает как «сон», «нас возвышающий обман». Призвание этого обмана — именно не дать человеку сникнуть, а, все время противодействуя тяготению общества отчуждения, действовать возвышающей силой. Оттого и в самые черные эпохи в человечестве продолжает жить его великкая сущность, хотя живет она уже как прекрасный потенциал бытия — залог его время от времени совершающихся прорывов в окружающую реальность, в наличное бытие «фактов». Благодаря ему — Человек — в людях и человечестве всегда бодрствует и наготове.

Ренессансное состояние души

Каков же первый шаг этого пробудившегося в человеке Человека? Уйти, бежать, сняться с места, начать новую жизнь, сначала. Место здесь обретает сакрментальное значение «заколдованныго места». Если в предшествующие времена место мыслилось людьми как спасающее их, и они описывали круг, приговаривая: «чур меня!» — то теперь, в обществе отчуждения, которое сделало людей функциями мест (жительства и работы), естественно, что и первый шаг к раскрепощению человека состоял в раскреплении его связи с местом, так что он начинает менять

места и занятия, оставаясь самим собой, нося определитель свой в себе самом, а не в месте.

Апология и эстетика странничества, бродяжничества занимает центральное место в идеях Горького. Он не любит и не понимает крестьян, людей, привязанных к земле, к «родному пепелищу». Их роевой образ жизни ему представляется тупым и не разнится в его глазах от мещанской окровервщины.

Вдумываясь в реальную социально-экономическую основу этой горьковской эстетики снятия людей с насиженных мест, — мы затрудняемся точно определить природу этого странничества. Россия ведь в тот период — конца XIX века — переживала ренессансную эпоху первоначального накопления, типичным для которой является именно утрата людьми прочных связей с землей, родней, ремеслом (занятием). Вместо всех средневековых устойчивых связей и определений человека по роду, земле и цеху, — встало одно, более высокое и общее определение — Человек. Природа горьковского гуманизма, следовательно, имеет и ренессансный момент в себе. Он родствен гуманизму западноевропейского Ренессанса XIV—XVI вв. Там тоже был бунт против средневекового отчуждения, и ренессансный индивид находил опору только в себе. Но потом он, этот Человек, не сумел построить мир человекоправды, ибо и проблемы, и задачи, и опасности еще такой не вставало: чтобы «созданное людьми поработило и обезличило их», — вещи еще надо было создавать. Быть может, и горьковская идеология гуманизма, эта ренессансная по характеру апология Человека, еще не занята задачей отчуждения (и это мы приписываем ему, домысливаем, глядя из более развитого состояния мира)?

Отчасти это действительно так¹, и в нашем анализе «На дне» есть элемент модернизации (в более определенной, ставящей точки над «и» постановке проблем). Особенно ясно это видно в облегченном решении у Горького проблемы разума и логики; доверие к ним у Горького несколько наивно и отдает еще просветительским рационализмом: путаница XX века еще не предстала ему во всей своей силе. Он еще имеет дело с ренессансной путаницей — как «пестротой» (т.е. категорией добуржуазного чувственного-предметного состояния мира и мышления) — а не с «абсурдным миром». И Горький, не уставая, любуется и описывает в их характерности — «пестрых»,

¹ Хотя бы потому, что главный враг, против которого направляет Горький свои мысли, — это окровервщина, мещанство, т.е. не буржуазная, а еще средневековая категория. Против превращения человека в придаток машинной индустрии Горький выступает реже, хотя и это — у него есть (ср. прелюдию к «Матери», «Челкаш» и т.д.). Все это обнажает срашенный характер горьковской проблематики (как и ситуации самой русской жизни, где сливались задачи буржуазно-демократической и социалистической революции).

снявшихся с места людей — как Чосер в «Кентерберийских рассказах». Их характерность — в них самих («все мое ношу с собой»): не в местах, где они живут, а в случаях, которые с ними происходят. Их и воспроизводит Горький.

И он любуется ренессансным состоянием и не торопится загонять людей в новый, устойчивый разумный мир, основанный, пусть и на принципах Человекоправды (а может, это так лишь казаться будет, а поистине будет создаваться новый мир отчуждения, как это и было после Ренессанса: ср. иллюзии царства Разума просветителей — и реальное царство буржуазии). Этот угол зрения на проблему и тогда уже вставал, и в «Матери» Горький задумывался: как «вогнать» в единое русло эту раскрепощенную энергию людей и начать строить новый, стройный, разумный мир — уже не на началах отчуждения, но на началах Человека. Но в основном и далее, после «Матери», Горький от этой проблемы отмахивался; и в автобиографической трилогии, и в рассказах отдавался любованию праздничной пестротой людей, освободившихся от одних связей и не торопившихся создать связи иные. Пусть себе поживут так: еще успеют вводить себя в рамки! Даже описанная в «Матери» авантюрная жизнь революционеров и радость, которую им доставляет страннический и «плутовской» (ибо их жизнь «нечестна», строится на обмане наличного общества, хитром проскальзывании сквозь его поры) образ движения по жизни — сродни эстетике бродяжничества, знакомой нам по западноевропейскому плутовскому роману.

И в романе «Мать» революционерка Софья по пути в село, куда они с Ниловой, переодевшись богомолками¹, несут запрещенные книги и газеты, — рассказывает своего рода революционные анекдоты и фаблио: «Весело, как будто хвастаясь шалостями детства, Софья стала рассказывать матери о своей революционной работе. Ей приходилось жить под чужим именем, пользуясь фальшивым документом, переодеваться, скрываясь от шпионов, возить пуды запрещенных книг по разным городам, устраивать побеги для ссыльных товарищей, сопровождать их за границу. В ее квартире была устроена тайная типография, и когда жандармы, узнав об этом, явились с обыском, она, успев за минуту перед их приходом переодеться горничной, ушла, встретив у ворот своих гостей... (qui pro quo с переодеваниями, как в фаблио о хитростях неверной жены и глупом муже, не правда ли? — Г.Г.).

¹ «Вдыхая полной грудью сладкий воздух, они шли не быстрой, но скорой походкой, и матери казалось, что она идет на богомолье. Ей вспомнилось детство и та хорошая радость, с которой она, бывало, ходила из села на праздник в дальний монастырь к чудотворной иконе» (7, 364). — Настроение и цель, как у пилигримов в «Кентерберийских рассказах» Чосера.

<...> Однажды она, переодетая монахиней, ехала в одном вагоне и на одной скамье со шпионом, который выслеживал ее и, хвастаясь своей ловкостью, рассказывал ей, как он это делает. Он был уверен, что она едет с этим поездом в вагоне второго класса, на каждой остановке выходил и, возвращаясь, говорил ей:

— Не видно, — спать легла, должно быть. Тоже и они устают, — жизнь трудная, вроде нашей!» (7, 362).

И когда Ниловна, восхищаясь тем полным, живым и радостным ощущением всего в жизни, которое она видела в своей спутнице, в то же время выражает ей сочувствие: «Кто вас наградит за труды ваши? — спросила она тихо и печально.

Софья ответила с гордостью, как показалось матери:

— Мы уже награждены! Мы нашли для себя жизнь, которая удовлетворяет нас, мы живем всеми силами души — чего еще можно желать?» (7, 364).

Когда человек начинает жить полностью из себя и проявляет себя еще не в созидании и организации нового бытия, но в своего рода озорстве по отношению к существующему, в артистическом проскальзывании сквозь поры твердой социальной системы, — такая жизнь есть абсолютная свобода, прекрасна, и богаче и индивидуальнее ее не придумаешь. Вот почему Софья заявляет: «нас» (революционеров) — такая «жизнь» «удовлетворяет». Радость чистой борьбы — хотя она плюс к этому имеет еще и обоснование высокой идеей: борьба для счастья народа — эта радость пронизывала чувством умиления к самим себе — таким хорошим! (Вспомним сцену из «Матери», когда Павел, Андрей и Николай Весовщиков, обнявшись, уходят в ночь гулять от избытка счастья и взаимной нежности.)

Итак, бытие человека в отрыве от старых и новых связей, т.е. человека-странника, перекати-поле, для Горького представляется не несчастным состоянием опустошенности и одиночества («Бродяга — я... Никто нигде не ждет меня») — но состоянием свободы, полноты жизни и ее личного характера. Так что снять людей с мест — для Луки — есть все необходимое и достаточное, чтобы погрузить их в жизнь в сфере свободы. Сам он — перекати-поле, такую именно жизнь и ведет. В ответ на назидательное замечание Костылева: «Человек должен определять себя к месту... а не путаться зря по земле...» — Лука замечает: «А если которому — везде место?»

Но если сравнить этот предлагаемый Лукой выход: «сняться с места» — с прошлыми судьбами персонажей «На дне», — то он будет звучать применительно к ним несколько странно. Ведь в самом деле — не их уж агитировать за снятие с насиженного места: ни у кого нет, наверное, за плечами такого стажа скитаний по свету и бродяжничества, как у них: каждый из них

давным-давно выбился из своей среды, порвал связи с окроверским бытием — и именно в ходе скитаний забросило его в ночлежку Костылева.

Здесь очутились герои первых рассказов Горького о боязнях: Челкаш, князь Шакро, «бывшие люди» и т.д. — и вот роковая власть места!.. Лишь только они осели, — тут же, на новой ступени и в новом качестве начала возрождаться окроверщина — засасывающая окроверщина сатинско-бубновского цинизма и опустошенности. И уже нужно снимать людей с «дна», как тоже мира отчужденного бытия, — ибо общество отчуждения вполне устраивало бы наличие постоянной помойки, куда бы оно могло время от времени отваливать не ко двору пришедшихся индивидов: пусть их себе там безвредно ощущают себя Человеками и ведут душеспасительные разговоры о правде в царстве мертвых.

Так что же, Лука предлагает им вернуться к их прежнему, уже изведанному состоянию бродяжничества, ибо только в нем человек опирается целиком на себя, верен себе и реализует свою индивидуальность? Нет, он зовет к принципиально иному снятию с места: не по воле судьбы, не как гонимых внешней силой — но по своей воле, в поисках себя самих и присущей каждому формы жизнетворчества.

Но вся беда-то в том, что, кроме Луки, — никто в пьесе не может найти этой присущей себе формы положительной деятельности: Лука, странствуя по свету и глядя на разную жизнь, встречаясь с разными людьми, беседуя с ними, вливая в них веру в свои силы, — действительно полностью выражает свою индивидуальную сущность. Ибо она у него поистине самая всеобщая: быть движущейся по миру связью с людьми, ее материальной плотью. От этой связи вливается в людей сгусток энергетической силы, и благодаря ей, они чувствуют себя не покинутыми и заброшенными, но членами единой семьи Человеков.

Лука, таким образом, есть не что иное, как активная всеобщая форма, организующая искомый Человекомир. Именно потому, что этот мир есть организация людей как творческих индивидуальностей, то и его всеобщая активная форма (связь, стимул), образующая этот мир в структуру, должна выступить не в отвлеченно-логической форме: не как всеобщая теоретическая истина (т.е. не отделенно от конкретной человеческой плоти, облика, что сразу ввело бы снова принцип отчуждения) или категорический императив, с которым люди, как с чем-то отчужденно от них живущим, как с внешним принципом, сверяли бы (примеряли бы, контролировали) свои желания, мысли и поступки, — нет: эта всеобщая деятельностьная субстанция-субъект (выражаясь гегелевским языком), творящая новый Человекомир, должна выступить как индивидуум, конкретный отдельный человек во плоти, с определенным характером. Только вся суть

специфики, пафос, особенность его индивидуальности должны, в отличие от всех прочих индивидуальностей (которые сказываются в определенной односторонней страсти, форме творчества и т.п.), состоять в том, чтобы не заключать в себе ничего особенного, никакой своей формы внутренней активности, но быть всепонимающим сознанием, энергичной формой, в которой могли бы найти себя и уместиться все индивидуальности и желания людей.

Для той роли, которую осуществляет Лука: зажигать собственную правду каждого человека, — как раз и нужно, чтобы он в себе не нес никакой своей особенной правды (идеала, пристрастия), кроме этой способности быть эхом любой особенной правды. Его индивидуальная активность и форма должны состоять в том, чтобы быть Протеем — т.е. чтобы не иметь своей формы и принимать в любой момент форму и суть человека, с которым он имеет дело. И естественно, что обликом для такой русской всеобщей индивидуальности явился уютный спорый старичик: он и мудр (в нем — всеобщий опыт: и от женщин он полысал, и в Сибири сторожем служил — т.е. он есть всезнание), и деятелен (странник с котомкой: «старику везде место»). Он мягок, пластичен и эластичен. «Мяли много, оттого и мягок», — признается Лука Анне. Мягкость его и есть эта предельная активность его сущности, которая проявляется в ее расслаблении, самоисчезновении, благодаря чему и может суть другого человека отпечататься в нем, как в воске, полностью, по своей собственной «мерке». В этом и таится сила его воздействия: в беседе он не дает ничего, кроме сути данного человека, — но как раз этого людям недостает, и ни в ком из людей с особым пафосом они не могли бы найти себя, отразить целиком свою сущность: те слишком заполненно активны и, благодаря этому, не видят данного человека самого по себе и не дают ему увидеть в них — себя самого в отражении.

Лука же — это и есть всеобщее движущееся отражение, или бродячее самосознание бытия. Его движение по жизни есть зажигание самосознания в других людях: и в них, в их воскресших или впервые найденных ими индивидуальных сущностях, — и «определяется» шествие Луки. Он, как гегелевский Дух, в своем прохождении сквозь жизнь, все время, в каждой точке сливается полностью (до совпадения) с тем или иным человеческим существованием (его сознанием). В этом соитии он наполняет свою временную обитель всеобщей энергией, собранной им со всех людей, — и далее покидает эту и входит в другую индивидуальную форму. Но формы, пройденные им, уже далее живут самостоятельной жизнью. Так и наполняется новое бытие жизнью разнообразных явлений («феноменов»).

Теперь понятно нам должно стать, почему Лука, когда воплощается в одного и говорит его индивидуальностью, — «врет», с точки зрения индивидуальности другого. Но, в свою очередь,

этот, когда Лука входит в него, ошеломлен его точным всепроникновением в его душу, полным знанием его истины. Потому и ясно нам должно стать, что, оставшись без Луки, когда он, сделав здесь свое дело, — «проквасив сожителей», т.е. зарядив их своей (Луки) = индивидуально их (Актера, Нasti, Сатина и т.д.) энергией, пошел дальше, — теперь пробужденные индивидуальности (и пробужденные самосознания) сталкиваются во взаимокритикующей борьбе: ибо каждому всеобщая правда Луки предстала в форме его собственной индивидуальности. И именно это брожение теперь и есть живая жизнь исчезнувшего, отлетевшего Луки. В этом брожении и начинает свое само движение и само различие строящийся им мир Человекоправды, который по богатству своих различий, явлений должен затмить многообразие мира, созданное на принципе отчуждения.

Логика воли

И вот посмотрим, какой мир оставил после себя Лука. Четвертое действие пьесы — это уже не вяло и ворчливо идущие разговоры в царстве мертвых (как в первом действии), но разговоры, происходящие, «когда мы, мертвые, пробуждаемся».

Все полны какого-то свежего задора, силы, молодости, любви, понимания и в то же время живой ненависти и презрения друг к другу и непонимания друг друга — словом, это уже индивидуальные страсти, и они, забушевав, вздыбили людей на прямое столкновение их сущностей и правд. Каждый выдвигает свое понимание «старика» и, следовательно, всеобщего смысла жизни — и обвиняет всех остальных в абсолютном непонимании (ибо Лука сам всех понимал, но не оставил ключа, чтобы людям самим понимать друг друга):

«*Настя*: Хороший был старишок!.. А вы... не люди... вы — ржавчина... <...> *Клец*. Он... жалостливый был... у вас вот... жалости нет... <...> *Татарин*. <...> Старик хорош был... закон душе имел! Кто закон душа имеет — хорош! Кто закон терял (имеются, в частности, в виду все остальные жители ночлежки) — пропал!.. <...> *Актер*. Невежды! Дикари! Мель-поме-на! (Кричит он Сатину, который нарочно, дразня Актера, спутывал муз.) Люди без сердца! Вы увидите — он уйдет!» («Он» — это он о себе говорит — о своей проснувшейся свободной воле, индивидуальности.)

Наконец, в том же отвергающем других духе выступает и Сатин: «*Сatin* (ударяя кулаком по столу). Молчать! Вы — все — скоты! Дубье... молчать о старике! (*Спокойнее*.) Ты, Барон, — всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — врешь! Старик — не шарлатан. Что

такое — правда? Человек — вот правда! Он это понимал... вы — нет! Вы — тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми!»

Следуют далее знаменитые монологи Сатина, где все выше вздымается всеобщая мысль и правда о Человеке и жизни, которая начинает карабкаться на этот Монблан уже с первых секунд четвертого действия: в робких репликах Клеща о жалости, в полурусской речи Татарина о законе и т.д. В речах Сатина впервые найдены точные слова для выражения идеи Человекомира и наиболее полно в форме прямых логических тезисов развернута гуманистическая концепция Горького:

«Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! (*Очерчивает пальцем в воздухе фигуру Человека.*) Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы... Все — в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!»

Итак, здесь вроде осуществлено средствами мысли соединение людей во Человеке, создание единого понятия о Человеке. Но точно и только ли понятие это?

Сразу ошеломляет волевой напор этого размышления о Человеке. Мысль здесь движется не связной цепью силлогизмов, доказательств, обоснований одного на другое. Нет, это — огненная зажигательная речь оракула, вождя, пророка, глашатая, в которой каждая фраза принимается сразу, на веру. И как ее не принять, если она, во-первых, полностью совпадает с тем, что люди хотят слышать о жизни и себе? Потому они ей дают веру сразу, заведомо, даже до логического понимания ее — то, чего так и не мог добиться в притче о праведной земле ученый со своими картами, планами и доказательствами. А, во-вторых, как ее не принять, если каждая частица, фраза этой речи — есть афоризм (т.е. твердое тело мысли), обладающий пробивной силой, свое-вольно врывающийся, вламывающийся без спроса в сознание человека и гнездящийся в нем, в своем тоже твердом, не расчленяемом рефлексией виде!

Чтобы убедиться, что это так, что логического расщепления твердого тела афоризма мы обычно не производим, пусть каждый, положа руку на сердце, сознается себе: задумывался ли он когда-либо над тем, почему знаменитое изречение о Человеке дано именно в такой, логически совершенно нелепой, форме: «Человек — это звучит гордо». Ну и пускай себе — «звукит», — скажет логика, — от этого «гордость» никак не становится необходимым предикатом суждения о Человеке; таковой она станет лишь в том случае, если бы было сказано: «Человек — это (есть) гордо» — и без всяких восклицательных

знаков и тире, окружающих мысль совершенно излишней атмосферой эмоционального ажиотажа, спекуляции на чувствах и т.д. И то, что у нас не возникает такой самгинской рефлексии, — и есть доказательство, что афористическая форма мысли здесь достигла цели.

Мысль о Человеке не есть суждение; она — лишь внешне походит на его форму. Концепция Человекомира, построенная логикой Человекоправды, как раз не может и не должна быть чисто философской концепцией. Она не должна отвлекаться от воли «практического разума» (желаний, эмоций, «я» человека), ставить себе в заслугу беспристрастное познание, — но осуществляет максимальное напряжение мысли, чтобы перелить ее прямо в волю и действие.

Монологи Сатина — это стремление логики превзойти свои границы и выйти сразу в мир действия. Это своего рода заклинания, магические действия со словами. Сатин, который в первом акте вяло соединял опостылевшие слова — через многоточия, здесь соединяет их волевым напором: посредством тире перебрасывая мосты через еще не освоенные мыслью бездны и пустоты. Многоточие (вспомните лермонтовское «И скучно, и грустно») тоже означает выход художественной мысли, образа за пределы рассудочно высказанной мысли, продолжение ее куда-то в бесконечность и включение этого Х в объем образа. Многоточие есть преодоление логики вещей, через разрыв и повисание в воздухе ее структур и материалов (синтаксиса и слов), так что они превращаются в бесплотные, а высказывания — в полуаллегорические: через одно значение намекается на не улавливаемую им бесконечность значений.

Если многоточие подводит высказывание к бездне и так и останавливается на ее краю в удручении и безвольной расслабленности, то тире есть попытка сознания рывком переброситься через эту бездну многозначного и, тем самым, вобрать в себя и ее скрытые значения и, так сказать, знать — еще до самого знания. Многоточие — разрыв, обнаружение беспредельности мысли; тире — связь через и несмотря на беспредельность.

Организация мысли как афоризма приоткрывает нам тайну нелюбви (точнее — ревности) Горького к народным пословицам: и не только потому, что они создавались большей частью нелюбимым им крестьянством, но и потому, что они таят в себе какой-то иной, враждебный ему способ организации мысли, — стократ более чуждый ему, что внешне он близок к излюбленной им форме афоризмов, изречений.

«— Э! — кивнув головой, сказал хохол (Андрей Нахodka в романе «Мать». — Г.Г.). — Поговорок много. Меньше знаешь — крепче спиши, чем неверно? Поговоркам и желудок думает, он из них уздечки для души плетет, чтобы лучше было править ею» (7, 274).

В чем здесь дело? Откуда такое отмежевание от сокровищницы народной мудрости? Близость пословиц к создаваемым разумом афоризмам очевидна: и те и другие суть больше чем формы «чистого разума» — это формы волевого сознания, действенного мышления. Но в них разная воля глаголет. В пословицах глаголет всеобщая воля человечества как чего-то — пусть не отчужденного, но родового, надличного, в котором индивид растворен и своей воли еще не родил. Недаром пословицы в большинстве своем созданы в полупатриархальном, добуржуазном (т.е. до чистого отчуждения сложившемся) состоянии мира. Потому пословицы суть либо констатация положения вещей, которое кладет человеку предел иже не прейдеши, либо извне идущее к индивиду требование мира. Пословица связывает «я», волю (душу) индивида и приковывает его к полупатриархальному, растительному («в желудке») существованию.

Они, как формы мысли, — не суть заслуга индивида, его «я», его сознания. Они лежат в сусеке родового сознания как готовые данности, запасенные на все случаи жизни, — и спасают индивида от собственного отношения к этим ситуациям, которые ведь всегда неповторимы. (Пословица же тотчас подверстывает и случай, и индивида под известное, то же самое, удручет и сгибает волю и мысль человека автоматизмом бытия, в котором якобы «все на свете повторимо».)

Логика отчуждения, которой присуща форма силлогизма, разрушает пословицы, отъединяя единичное от общего и соединяя их уже не прямо, непосредственно (как они растворены в пословице), а через различие, противостояние, противоречие. Но итогом ее деятельности является отдаление истины от Человека, отчуждение мышления от бытия и софистика — как кружение мышления на холостом ходу.

Новый, искомый способ мышления должен осуществить最难的 задачу: добиться, чтобы индивидуальные правды людей могли бы взаимно понимать друг друга; чтобы это взаимопонимание шло не через соединение индивидуальных миропониманий и правд в одно, отвлекающееся от «частного», — общее, в котором бы нивелировались эти индивидуальные правды, но через их развертывание и шла бы, и концентрировалась всеобщая Человекоправда.

Но в сфере чистой мысли это недостижимо, ибо такое соединение правды с человеком (который есть не чистая мысль, а целостное существование во плоти, в воле и т.д.) предполагает выход познания из мышления и погружение в действие. Афоризмы есть напряжение мысли перейти в эту сферу. Мысль здесь ската до предела, т.е. изгнана, уже самовытеснилась из своего абсолютного царства, где она в вольном пространстве могла бы на покое развертываться в гигантские тома и системы доказательств.

С другой стороны, афоризм, в отличие от пословицы, есть порождение индивидуального «я», индивидуальной мысли, которая волевым усилием прямо (опять же, через тире) переносится ко всей общей Человекоправде.

Взыскание Человекомира

Итак, монологи Сатина суть кульминация идущего в «На дне» познания Человека и его мира средствами чистого разума («разговоров»), когда этот разум уже превращается в практическимо действенное мышление.

Но монологи Сатина не суть кульминация четвертого акта пьесы. Действие идет дальше и уже покидает сферу мышления, разговоров — и переходит в более высокую и трудную (ибо она ниже, ближе к жизни) сферу поступков — «практического разума». И здесь одно за другим совершаются людьми дна свободные деяния: впервые щедр и добр к людям Клещ и ни за что ни про что чинит гармонь Алешке. Алешка уже не вопит истощно: «Я такой человек, что... ничего не желаю! Ничего не хочу и — шабаш!» — но шутит и увеселяет всех своей артистической игрой на гармошке. Барон впервые задумался над жизнью, которая прошла как во сне, словно не с ним случилась. А Настя впервые отвела душу в наслаждении местью, издеваясь над рассказом Барона о своем прошлом. Но кульминация все нарастает: Бубнов! Ворон Бубнов приходит добрый и щедрый, угождает всех; и бывший полицай Медведев, и педантичный Татарин размягчаются — и вот уже звучит песня, все сливаются во всеобщем воодушевлении, и души звучат в гармонии друг с другом. В песне найдено то всепонимание и понимание друг друга, согласие мыслей о жизни и старике, которое никак не удавалось достигнуть путем рассуждений (см. начало четвертого действия).

И наконец, совершается последнее и высшее деяние свободной воли пробудившейся индивидуальности. Это — самоубийство Актера. Оно испортило песню, так же как песня перед этим «испортила» рассуждение. (Вот она — последовательность и иерархия форм освоения Человекомира: мысль, песня, поступок.) Оно вдруг начисто перечеркивает ту компромиссную форму свободного бытия человека внутри рамок общества отчуждения, которое осуществляется людьми «дна» во всеобщем братании: в самозабвении прекрасного размышления (монологи Сатина), пьянки, пляски или песни. Да, в них в пределах микромира «дна» действительно достигается полное раскрепощение, апофеоз свободы, счастливого самоощущения каждым себя — Человеком; но именно в пределах этого микромира, отведенного обществом отчуждения свободным людям. Веселье их хоть и есть нечто

смущающее и из ряда вон выходящее, но в общем не колеблет более высоких водных слоев и тем более не достигает поверхности. Самоубийство же Актера есть самовзрывание дна, бунт против вообще всякого внешнего или само-ограничения свободы Человека, радости и счастья. Оно есть покушение идеала Человека на всю жизнь сразу, во всей ее толще: со дна ее океана — до поверхности.

Итак, Лука, эта «старая дрожжа», сделал свое дело: «проквасил сожителей», как говорит о нем Сатин. Переворот в душах людей осуществлен: они уверовали в себя и «праведную землю» Человекомира — и теперь уже не могут жить автоматически, будучи заводимыми извне: целями общества отчуждения, но ощутили в себе импульс, творческий источник самодеятельного бытия. И это первый, кардинальный и величайший акт, поворот к свободе — и, перейдя этот рубеж, люди уже *полной мерой* вкушают радость и счастье, и Человека в себе. Мы видели, что достигнуть этого поворота в каждом можно было именно выявлением его желаний лучшего, какими бы бедными они ни были, но важно, что они именно *его*, им изнутри порождены, — и важно дать этим изнутри идущим стремлениям подтверждение их всеобщей правомерности, истинности и красоты. Любая, даже самая раз'истинная истина, самое верное и человечное учение в этом случае были бы совершенно мертвы и бессильны пробудить «я» людей, ибо они опять являли бы истину, как живущую вне человека, и укрепляли бы его недоверие себе — т.е. царство отчуждения. Вот почему первая ступень в постройке нового «Человекомира» выступает как пробуждение хаотической множественности людских «я»: воль, стремлений, правд. Не с одной, а с бесконечного множества сторон вдруг брызнули источники самодеятельной творческой энергии. Люди расцветают, дивятся себе и наперебой стремятся явить миру свою правду; каждый чувствует себя новым мессией, спасителем человечества, благовещающим ему новый всеобщий принцип, закон бытия. На этой ступени наиболее проявляются самобытные, неподменимые индивидуальности, характеры, страсти людей. Она исключительно благоприятна для именно художественного вникания в жизнь. (Вот почему Горький в своем творчестве — в общем сосредоточивается на воспроизведении этого состояния мира в пестрой разноголосице пробудившихся и празднующих первооткрытие своего «я» творческих индивидуальностей.)

Однако уязвимость, недостаточность первой ступени как раз состоит в том, в чем и ее опьяняющая красота: пестрая разноголосица пробудившихся «я», бесконечных индивидуальных правд оборачивается катастрофическим разобщением людей, полным их непониманием друг друга, а отсюда наступающим после праздника (слияние всех в песне в четвертом действии «На дне») похмельем, в котором люди чувствуют удручающее одиночество, пустоту и бессилие перед навалившейся на них громадой вне них

существующего мира. И это их ощущение своей приниженности тысячекрат сильнее, чем раньше, ибо оно первооткрывается благодаря тому, что только что первооткрылось их «я» и пробудилась вера в себя.

Пробудившийся в людях идеал человека так и остался закупоренным в каждом из них, не в состоянии воздействовать на мир, не находя себе выхода в общезначимое дело, а в крайнем случае, разбивая человеческий сосуд, в котором он бродил (самоубийство Актера). В то же время сам мир отчуждения со своими бесчеловечными отношениями вторгается на «дно» и не дает разъединенным людям осуществить пробудившуюся в каждом из них мечту. Васька Пепел попал-таки в Сибирь — но не на вольное счастливое житье с Наташей, а на каторгу. И другие так и не могут по-новому построить свою жизнь и остаются лишь при потенциале Человека, да к тому же так, что один не может понять другого.

Но вникнем поглубже в смысл самоубийства Актера. Когда человеку открылось, что все те богатства, красота и сила, которые он ощущает в себе, имеют, оказывается, лишь субъективное бытие: в нем — и не имеют реальности, не имеют всеобщего значения, неведомы миру и не нужны ему (он течет себе по-старому, по своим отчужденным законам, независимо от пробудившегося человека — словно «мальчика-то и не было») — это прозрение рождает величайшее отчаяние и яростное желание утвердить свою свободу, навязать ее жизни, явить ее в объективности — пусть чисто абстрактным и отрицательным образом, — но все же обнаружить свое всевластие над бытием: через самоубийство.

Это значит, что вера человека в себя, разумность живущего во мне Человекомира — тверже, чем вера в окружающий мир отчуждения и его правды. Самоубийство — действительно высшее деяние, на которое может подняться абстрактная разобщенная индивидуальность; ведь она может действовать лишь индивидуальным способом, совершив лишь единичный акт, да и тот замкнуто, в своем кругу (которым на этой ступени каждый очерчен): имея себя и как всеобщую волю, творящую силу, — и себя же (тело) как материал для действия, формирования, представительствующий и воплощающий в себе весь закон мира отчуждения, которому от человека не нужна его индивидуальность, «я», а нужно родовое в нем: мышцы, мозг, как способность соображать, да страх, как единственная общественно необходимая способность души. До сих пор все это было в нем материалом, который формировало общество. Теперь он отбирает у него этот материал и формирует его по своему образу и подобию — образу чистой свободы воли. Со всем этим разделяется человек в акте самоубийства и тем самым позитивно утверждает большую существенность и силу познанного им в себе Человекомира, чем окружающего бытия. Потому решившийся на

самоубийство Актер имеет право говорить о себе возвышенным слогом: «Он — уйдет! <...> Он — найдет себе место... где нет... нет...» Ибо «Он» — это Человек, выступивший в нем в этом акте всей своей мерой.

Но деяние Актера — это как раз от абстрактного, бессодержательного характера того «Я», которое в нем пробудилось. Он хочет уйти туда, «где нет... нет» — именно потому, что его «Я» есть пока чистая самодеятельная энергия, воля, чистая сила — но в ней тоже нет конкретного, положительного содержания. Это только абстрактный Человек пробудился в нем. Он еще не наполнен.

Или нет. В нем уже бродит, он чувствует в себе это индивидуальное содержание («назначение высокое», как и лермонтовский Печорин), и оно рождает в нем «силы необъятные». Но в том-то и дело, что еще нет содержательного способа обнаружить, явить это миру, утвердить свое «Я» в нем. Все способы действия и мысли — старые, отчужденные, абстрактные, так что человек, какое бы в нем богатое индивидуальное содержание ни бродило, — не знает его, не может определить и воплотить его в присущей этому содержанию форме. Потому это конкретное (но смутное еще) «Я» переводится, растворяется в единственный из отчужденных, абстрактных способов самоосуществления, который является «Я», сущность человека хотя бы полной количественной мерой (самоубийство).

Но в том-то и дело, что — количественной мерой; а вся суть нового Человекомира — в том, что в нем каждый индивид есть абсолют как неповторимое качество и должен действовать качественно особым способом.

Поиск Общего Дела

Итак, данная стадия есть стадия двоевластия: существуют одновременно мир Отчуждения и мир Человека. Один — живет кругом, вне людских индивидуальностей и без них. Другой — только в них. Первый основан на полной подменности — понятности людей, осуществляемой через сравнивание (выравнивание их по вне их, к ним не относящейся мерке). Он есть общее действие, свободно совершающееся без индивидуальностей людей. Другой основан на неповторимости, драгоценности людей, на индивидуальности мерок и критериев. Но зато здесь и нет понимания людьми друг друга: они фатально заперты в себе. Моя вера в себя представляется тебе совершенно непонятной, неоправданной («Сатин: Вы — все — скоты! Дубье...», «ничего не понимаете»). На этой ступени каждый несет в себе весь, так сказать, Человекомир, в сю его ношу — и именно поэтому не видит и не понимает другого. Эти миры неподменны и несоединимы — ибо подмена и соединение лишили

бы их как раз их основного специфического, присущего этой ступени качества — индивидуальности.

В этой ситуации благородный принцип, лозунг: «Надо уважать Человека!», «не мешай Человеку» (так часто повторяемый в «На дне» Лукой, а в конце — и Сатиным) — есть закрепление этой запертости людей в себе. Ибо раз все равно понять друг друга нельзя («Верно, а может... и не верно», — говорит Пепел о выражаемой Лукой индивидуальной правде Анны), а «все есть люди... все люди» — и каждый в себе слышит мощный голос и может лишь абстрактно подозревать, по логике вероятности и аналогии, его в другом, но не понимать его, — то пусть уж каждый сам по себе тешится, не мешая другому.

Так великий принцип индивидуальной творческой самодеятельности, в которой и может лишь осуществляться Человек, обличается субъективной игрой в бирюльки своего воображения. Так, совершающееся глубоко в душах людей единение и слияние людей в братстве, в ощущении себя Человеками обличается в реальности их трагическим разобщением и одиночеством. Так вера в себя, доверие себе утрачивает характер мощного источника реального жизнетворчества, а предстает как утешительная иллюзия о себе, не имеющая всеобщего значения. Тем самым, без объективной пищи и возможности самопроявления в реальном предметном действии, сама вера в себя, свою силу, хиреет и перерастает в неуверенность. В «На дне» только и слышишь: «это его дело», «не твое дело» и т.д. — реплики, которыми люди словно расталкивают друг друга, огораживают себя, оброняют ся, т.е. окружают себя броней, становясь крепостью, недоступной для вторжения. Но в этой крепости они сами задыхаются, стремясь и не в силах выйти из нее.

До сих пор понимал всех — Лука. Ему лишь до всего дело. Он всех соединял с собой поодиноке, но не друг с другом. Он и был воплощенным их единством, и когда он был среди них, люди ощущали свою общность. Даже когда он ушел, в четвертом действии «На дне», всех соединяет хотя бы разговор о нем. Лука и был как бы их общим делом. Теперь оно исчезло, и люди вновь лишены понимания друг друга. Чтобы оно могло состояться, должно родиться в жизни и изнутри людей такое дело, которое будет одновременно и «его», и «твоим», и общим делом. Оно лишь и может стать оплотом, почвой и веры людей в себя, и их переливания друг в друга, а следовательно, — взаимного понимания, знания и новой логики.

Каким же требованиям должно отвечать это искомое общее дело и какова связь людей в нем? Оно — иное, чем производство и жизнь, и мышление, и знание в мире отчуждения, которое тоже есть «общее дело» людей. Это последнее есть для рождающегося на свет индивида априорная, извечная данность, которая жила и будет жить без него и для которой его существование есть случайная, безразличная и в своем качестве ненужная подробность. Производство вещей равняет людей на

базе смысли, а закон требует от человека нивелировки, стирания его воли. Это «общее дело» связывает людей внешней силой угнетения, цепляющего человека за его животную природу (не работающий — да не ест), ибо, не участвуя в нем, пренебрегая им, люди просто перестанут существовать как тела. На уровне этого общего дела люди чувствуют себя животными и рабами, а не свободными творческими индивидуальностями.

Искомое же Общее Дело¹ поэтому должно быть слиянием индивидуальностей людей, изнутри их существ идущей волей, непрерывно, с рождением каждого «я» обновляющим творением... Или нет: это именно мир отчуждения подвержен свистопляске, суете и поклонению перед идеей прогресса; лихорадочно прячась от человеческого суда за калейдоскоп переодеваний, словно заманивает: ну, погоди! вот попробую еще одну форму бытия: может, она — спасительна, а тогда уж — делай со мной, что хочешь. Это мир отчуждения делает новизну («новелла», «новость»!) своим богом и качество видит лишь за тем, что незнаемо, неизвестно: новенькое, свеженькое... — он, как вампир, питается живой кровью невинности. Погоня за мерцающими огнями нового и есть обманчивое движение, наполняющее жизнь вроде положительным содержанием, и в то же время это, как ничто более, мешает добраться до коренной сути жизни в ее мощной простоте. Потому это искомое Общее Дело должно, в отличие (а и в сходство?) от отчужденного «общего дела», обладать свойствами: во-первых, незыблемости, противостоящей суполке отчужденного прогресса, — незыблемости той же, какой обладает природа; а во-вторых, свойством непрерывного умирания и воскресания, обновления, осуществляющегося через приобщение к этому делу каждого человека, так что без (каждый раз свободно) им даруемой этому делу его воли² — оно сразу утрачивало бы свою жизненность, специфическую суть, и превращалось бы в отчужденное, внешнее людям общее дело.

¹ ¹ 25.5.91. Тогда, в 1960 году, я еще не слышал о Николае Федорове. Когда же прочитал в 60-е годы его «Философию общего дела», понял, что в воздухе эпохи носилась эта идея на рубеже XIX—XX вв., и вот Горький на нее вышел, а и я — в рассуждении о проблемах нашего века. И тут дедуцирую некие признаки этого искомого Общего Дела, учение о котором, оказывается, уже великолепно и мощно развито Н.Ф. Федоровым, этим великим русским мыслителем и пророком.

² То есть это дело не может раз заручиться доверием человека, а дальше действовать уже не спрашивая его, от его имени, представляя его перед бытием. Нет — оно каждый раз, для каждого шага, нуждается в возобновлении этого доверия: тогда и так оно каждый раз воскресает в своей чистоте и сущности — иначе этот шаг уже будет сделан не человеческим, а отчужденным способом, и весь смысл такого общего дела тут же улетучится, ибо оно уже будет не средоточием свободных воль, а их отторжением.

Это оборотничество непрерывно и незаметно происходит; ведь у обоих этих «общих дел» по внешности — одни и те же свойства: извечность и нужда в обновлении. Только они имеют полярное наполнение и по источнику энергии, и по содержанию. Так, стоило первоначальному христианству — этому добровольно возникшему общему делу, союзу единомышленников, — стать государственно-церковным институтом, так что оно обрело силу осуществлять себя (общее дело) само по себе и перестало нуждаться в том, чтобы люди для каждого шага этого общего дела даровали бы ему свою волю и «я» по свободному творческому импульсу изнутри, — как оно стало превращаться в мощное объективное, но уже отчужденное общее дело, имеющее власть насилия и принуждения по отношению к его участникам, и тем самым умирало в своей специфической сущности и становилось еще одним отчужденным общим делом, принявшим в начале облик свободного творческого дела людей и в этом одеянии всосавшим в себя живую кровь и волю, без которых оно не могло бы родиться на свет и утвердить себя в конкуренции рядом с другими отчужденными общими делами.

Так, секрет все же удивительной жизненности христианства и состоял в непрерывном его обновлении ересями и сектами, которые есть не что иное, как индивидуальные трактовки и превращения этого общего дела, совершающиеся каждым поколением, каждым индивидом (у каждого — свой Бог: ср. Боги деда Каширина и Бабушки в «Детстве» Горького). И то, что христианство, несмотря на непрерывное его самоотчуждение (в истории и противоборстве церквей), заключало в себе возможность — и не только возможность, но и необходимость, требование постоянных индивидуальных метаморфоз, — и показывает, что оно было одной из форм, ипостасей этого искомого общего Человекодела, живая, истинная жизнь которого в том и состояла, что лишь полностью добровольным слиянием (обращением, причащением) с собой могло оно пытаться, а всякое внешнее соединение с ним, сделанное будь то из корысти, будь то по внешнему давлению, — было смертью для него, еще одним тернием, вонзвшимся в тело Христа, распятое на кресте отчуждения. Потому как величайшее и драгоценное собственное открытие смысла жизни ощущает Мать ту истину, которая сверкнула у нее в душе во время первомайской демонстрации: «Ведь и Христа не было бы, если бы его ради люди не погибали!» Эта мысль вдруг вспыхнула в ее голове и поразила ее своей ясной, простой правдой» (7, 332). Это именно и значит, что Христос и есть тут это Общее Дело: что он не сам по себе существует, объективно, как идеал и мерка, шаблон Человека, что примеряется к каждому новому человеку или к тому же человеку в каждый момент его жизни — заново. Нет, Христос мертв, беззащитен и беспомощен без людей, верующих в него.

Он есть непрерывная смерть (ибо смертные люди, его братья «во Христе», умирают) и воскресение (ибо его братья непрерывно рождаются)¹, которое происходит лишь как высшее напряжение индивидуального творческого «Я» каждого человека — такое творческое расширение этого «Я», что оно захватывает в свою орбиту весь мир, так что плавятся тогда границы жизни и смерти. В этом напряжении и смерть не страшна, как не страшна она в экстазе любви, пляски (смерть Нунчи в «Сказках об Италии»), битвы.

Так и здесь Мать видит воскресение Христа в деятельности ее сына и его единомышленников — именно по этому, не обманывающему, безошибочному признаку, что люди эти полностью живут из себя, прекрасно и свободно расцветают могучей силой изнутри, так что их творчество готово перешагнуть и грань смерти, — и эту же силу любви и правды, как уже нечто объективное, несут всему человечеству.

Двоевластие Отчуждения и Человекомира

Итак, на той, первой стадии пробуждения в людях Человека, которую извлекает из людей Лука, творческая самодеятельность каждого не переходит на других людей и на наличный мир, оставляет их в стороне, не затронутыми, — и протекает замкнуто в субъективном, внутреннем мире души: как абстрактное, смутное брожение всего существа, которое, если и может стать ведомо для других, то только в форме желания и мечты (как желания, уже оформленного в представление и способного отделяться от индивида). В этой точке: через желание и мечту — уже происходит замыкание, соединение индивида с Человекомиром — прямое, без посредства связи с другими делами, людьми, вещами. В этом состоянии человек может любить человечество, сливаться в братстве и умилении со всеми людьми — и злобно ненавидеть ближнего своего, соседа, ибо с ним-то его связь и отношения остаются прежними, регулируемыми миром отчуждения и никак не затронутыми Человекомиром.

Вот почему высшей задачей человечества, за выполнение которой оно, несмотря на все разочарования, никогда не устанет браться, ибо иначе потеряет свою основную суть, свое качество как Человечества, — является задача перелить Человекомир в объективность, дать ему предметное бытие, пронизать им и преобразовать на его основе все вещи, связи и отношения, формы

¹Вот почему людям, имеющим веру, легче умирать: ибо и их Бог (общее дело) умирает и воскресает, и в Его жизни и им жить.

жизни, характеры людей и пр. Сама разорванность бытия индивида, его двойное существование: как тела (мозга), робота в мире отчуждения, и как вольного, разумного, прекрасного чувственного и духовного существа в гармоническом Человекомире, — рождает необходимость их непрерывной борьбы и переливания.

Но откуда черпает человек представление о том, что помимо окружающего его отчужденного бытия есть еще прекрасный «Человекомир»? Почему объективной очевидности отчуждения, говорящей ему: «так есть», достигающей его сознания через четкое знание, логику фактов и доказательств, через разум, — он противопоставляет (в нем есть потребность противопоставить) субъективную очевидность (т.е. ясную лишь его душе и ее, души, силою держащуюся) «праведной земли» и утверждает: «Это — будет» (ср. речь Павла Власова на суде)?

Да из того же самого окружающего его мира: его предметов, отношений, законов, людей и т.д.! В мгновения, когда мы ощущаем братство людей, а себя — свободными, творцами жизни (а это мы испытываем в счастье, в любви, созерцании природы, участвуя в творческом труде, в народных движениях и т.д. — словом, в эстетическом состоянии), тот же самый окружающий мир, те же самые вещи, люди, от которых мы воспринимали до сих пор лишь унижающее меня давление, вдруг предстают ослепительно благостными, мудрыми, прекрасными: и такое, оказывается, счастье — жить среди всего этого, созданного вдохновенной волей и разумом свободного (точнее: непрерывно освобождающегося — и все более уже зависящего от собой же созданных прекрасных машин, учений, книг, государств и т.д.) человечества! И так разумно и целесообразно устроен и развивался этот «божий» мир!

Следовательно, чтобы вернуть и себе, и людям это ощущение наличного бытия, как праздничного, разумного и прекрасного, нужно вместо цепи отчуждения окружить, опоясать людей, поставить постоянным посредником между ними и наличным миром — атмосферу взаимного доверия, некорыстных отношений друг ко другу и любви¹. Из вещей и их потребностей (из производства и его закономерностей) это доверие возникнуть принципиально не может, ибо самодвижение производства вещей, как основы и движущей силы бытия человечества, дает почву для абсолютно стройной и в самом деле всеобъясняющей логической концепции («логики вещей») — но этим и обнаруживается, что отчуждение является для него пределом иже не перейдеши,

¹ Но, будь она постоянна, мы бы жили автоматизмом любви (как сейчас — автоматизмом корыстного интереса) и не видели и не ощущали бы ее, как воздух. Когда же эта атмосфера является лишь временами — как остро и празднично ощущается эта любовь к людям, доверие бытию!

— вечной и всеобщей сущностью бытия, выше которого это миропонимание, по основаниям своей логики, подняться не может.

Если мир отчуждения объединяет людей посредством вещей, привязывая их к ним, то искомая атмосфера любви и доверия может возникнуть в таком союзе, объединении людей, который строился бы как прямая связь их друг с другом, прозревающая и любящая в каждом — Человека, свободную, неподменимую творческую индивидуальность. Это то слияние, о котором говорил Сатин: «Человек <...> Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном!»

И коль скоро такая связь возникает — наличный мир и все вещи его переворачиваются: обнаруживают в себе не отчужденную, а человеческую сторону — ибо они все созданы Человеком, его творческой волей, хотя и в условиях отчуждения. Повторяю: таким наш наличный мир открывается нам в редких, но мощных эстетических состояниях, суть и призвание которых и есть — осуществлять прямую связь людей как братьев во Человеке.

Все это — к тому, чтобы показать, что Человекомир не есть лишь идеал, конструкция нашего воображения, а есть — предметность, действительность, объективность. Он реально окружает нас и более широким кольцом, чем кольцо отчуждения. Но оно, как более близкое и плотно к нам прилегающее, не дает нам в автоматизме будней разглядеть, проникать в сей более широкий — Человекомир, хотя мы все время и купаемся в нем, и ощущаем его подспудное давление в подсознании — да, глубже, чем в сознании, знании, логике. Мало того, мы не только ощущаем (т.е. пассивно относимся к нему), нет, мы в своем бытии, в каждом акте творчества людей, вещей, идей — непрерывно, каждодневно осуществляем его, переливаем его из духовного бытия в предметность.

Итак, си, Человекомир, есть, и мы в нем непосредственно живем. Но как только мы пытаемся извлечь его из себя, ухватить его, понять его — он тут же испаряется из настоящего, существующего бытия — и пред-стает: как будущее, цель то, чего нет, что лишь должно осуществиться. Подобное происходит с нами, когда мы, видя прекрасное — или любое — сновидение, хотим извлечь его из его протекания, удержать, понять его — и оно тут же умирает. Как только начинается усилие нашей воли и мысли (т.е. насилие над собой, своим непосредственным существованием, деятельностью и переживанием) и мы задаемся специальной целью — отрицая тем самым разумность непосредственной, прямой жизнедеятельности нашего существа, но рефлектируем, хотим сделать ее предметом, а значит: отделить от себя (т.е. произвести отчуждение), — сновидение прекращается. Оно уже отлетает от нас и стоит как цель

¹См. анализ труда-работы и труда-творчества в моей книге: «Творчество, жизнь, искусство». М.; Детская литература, 1980.

(предмет), который мы мучительным усилием воли, памяти и мысли хотим удержать, воспроизвести, понять — и все равно это сновидение маячит смутным, нерасчлененным облаком, и никакое усилие и уловки мысли не в состоянии его познать — т.е. перелить в свою форму: логического движения понятий. Эта операция кажется нужной, а на самом деле она — ненужная и невозможная, ибо вся прелесть и сущность, и необходимость сновидения, как особенной формы жизнедеятельности нашего сознания, — и состоит в его непереводимости, неподменимости логической мыслью, которая, в свою очередь, в своей сфере властвует монопольно и неподменима сновидениями: нельзя руководствоваться ими при постройке дома (но при живописании — отчасти можно...).

Это сравнение Человекомира со сновидением понадобилось нам для того, чтобы продемонстрировать: что вся его суть — в непосредственности его существования и осуществления; мы в нем живем, действуем им и его творим. Точнее: наша непосредственно (а не отчужденно) человеческая жизнь и творческие действия в ней и есть бытие этого Человекомира: атрибут непосредственности есть основной для него. Вот почему его содержательности, ему противопоказано всякое превращение его в цель, в отдельный (а он есть все, а не отдельность), в ней нас существующий предмет, — в то, чего нет, что лишь будет. Эта операция сознания (сделать его особым предметом и целью) есть отчуждение его от нас, изъятие его из бытия (а «бытие» и есть его основной признак: «Аз есмь сущий!»). Тогда он тотчас исчезнет, как бесконечное живое богатство, и замаячит как не заполненный своим содержанием абстрактный идеал, сияющая пустота, чистый свет. Его содержание тогда мы можем получать лишь чисто отрицательным образом: в нем не будет того-то и того-то, что есть в наличном мире, который мы видим лишь в ракурсе отчуждения. Но таковое — есть отчужденное мышление о Человекомире и отчужденное достижение его.

Когда же творчество Человекомира становится специальной целью и формой деятельности особой группы людей, отделяющихся от других и о-ничто-жающих их любовью, жалостью или презрением (они — несчастный объект спасения), то тут же совершается преступление перед всем наличным богатством и красотой бытия (его формами жизни), которое тем самым объявляется пустым, бессмысленным, бытием бесчеловечным, низшего ранга и сорта людей. Так, когда подвижники или борцы-аскеты насилиют свои естественные для человека стремления (когда Павел Власов твердо и жестоко отказывается от женитьбы, а Саша — от рождения детей) — тем самым все остальные люди отбрасываются в чернь, «бессмысленный народ», в непосвященные. И Мать, живя в среде революционеров, непрерывно ощущает их ревнивое оберегание своей монополии на подвиг и самопожертвование; они же — пусть и радостно, но все же удивляются, видя и в ней такую же способность.

Человекомир есть общее, непрерывно в необозримо разных формах творящееся дело (достояние) всех людей. И он полностью выступает в их всеобщем единении, а не борьбе одной группы людей против другой.

«Дну» вдогонку

Перечитал «На дне» (двадцать лет спустя) — и опять восхитился: до чего ж богата смыслами пьеса эта! В который раз читаю — и новое истолкование готов написать. Ибо — неисчерпаемо художественное произведение: не вытянуть его содержимое в прямую линию логического рассуждения, как не переводима многозначная жизнь на язык однозначной правды. И в то же время нет у человека иного средства понять себя и других людей и справиться с жизнью и перестроить ее, кроме правды. Как тут быть? Ну просто — неразрешимость, хоть воем вой!.. Об этом, собственно, и написана пьеса. По окончании ее ты в смуте: дыбом, как волосы, стоят-топорщатся разные правды ее персонажей: каждый прав и неправ, орет свою индивидуальную правду и не понимает души и правды другого. Попробуй, ответь: кто тут прав, а кто неправ?

В романе «Мать» проще — тут ясно: Павел с Ниловой — правы, Рыбин — прав отчасти, Весовщиков — заблуждается, а хозяева, судьи и полиция — враги. В «На дне» такой ясности нет: даже хозяин ночлежки Костылев по-своему недурен; берет он с ночлежников в меру, а попади ночлежка в руки Ваське Пеплу, например (как его подговаривает Сатин: убей хозяина, женись на Василисе да сам владей), так тот верно опасается: «Вы не токмо мое хозяйство, а и меня, по доброте моей, в кабаке пропьете...» — пропадет ночлежка, и некуда будет голову беднякам преклонить... Несчастен хозяин по-своему (в семейной своей жизни), да и какая радость — володеть «дном» — адом? И даже если слова его о жалости и богоизвестности расходятся с делом — все же и за то ему спасибо, что хоть память имеет о возможности жалости в мире и слова добрые еще знает. Другие — и того не ведают...

Да, жуткая путаница — это «На дне». Похоже на оркестр — перед приходом дирижера: каждый знай тянет свою дуду — хаос, какофония. Ты ждешь, когда начнется правильная музыка, — а тебе говорят: концерт окончен! — и, оказывается, эта какофония и была уже — симфония. И притом — прекраснейшая и по-своему стройная и гармоничная. Только, чтоб расслышать ее, надо по-особому настроить и организовать слух свой, ум и логику.

«Дно» = низ существования. Но низ — это и земля, почва, откуда корень Жизни полнокровной зачинается. Дно же = пол, из неорганического вещества, как и асфальт города. Дно = осадок — сток бывшей жизни, куда собрались «бывшие» и отпетые — т.е. к смерти тут ближе. Недаром так много смертей и о ней

разговоров в пьесе. Не сила Жизни, а слабость: обессиленные и уставшие тут. И комичен культ силы и сверх-Человека в устах шулера Сатина. Если и есть тут всполохи Жизни: любовь, страсть, интерес и мечта, то и они — в уродливых формах (страстно-кровавая линия Василисы — Пепла — Наташи). Здесь существа — как бы уже в жизни не заинтересованные, порвавшие с нею прямые счеты: им выхода нет, лишь один — на погост...

Но зато жертвой жизни, корысти и надежды — в них высвободился чистый разум — для философских игр и исследования смысла жизни и разных правд о ней. «На дне» — пьеса, равномощная сократическим диалогам. Недаром арена действия-размышления — «подвал, похожий на пещеру» — в том числе и на Платонову, миф о которой рассказан в седьмой книге его «Государства». Там узники в оковах и спиной к свету смотрят на стену, по которой движутся тени от предметов, проносимых снаружи, и высказывают о них свои суждения. Но вот приходит к ним из вольного мира и света человек, видевший сами настоящие предметы и смыслы их — как Лука тут, — и научает новому пониманию... Однако и Луку в пьесе нельзя принимать за полногорьковского пророка Истины: Лука — лукав; значит, тоже крив, а не совсем прав... Но ведь и Жизнь сама не права, не прямая, но — извилиста... Да: самый старый, а самый живой, Лука-то, и жизнеспособный: и видом он круглый, спорый, как колобок. Из Жизни пришел — в Жизнь ушел...

О, только и ставишь вопрос за вопросом, разбирая пьесу эту! И, пожалуй, такой способ ее толкования имеет смысл и наиболее подходящ, адекватен — вопросительной (а не ответной) сущности самого художественного произведения этого.

В самом деле: как в грамматике различаются предложения повествовательные, восклицательные и вопросительные, — так и художественные произведения условно можно распределить подобно: «Мать» — это, безусловно, «повествовательное предложение» смысла жизни и решения ее. «Песня о Буревестнике» — это, в целом, «восклицательное предложение»: восхищенный гимн воле и борьбе. А вот «На дне» — это вопрос на вопросе, как турусы на колесах: что торосы, вопросы громоздятся тут и глыбятся.

Да вообще и роды литературы можно в соответствие с видами предложения поставить: эпос = повествование; лирика = восклицание (усиленное тут выражение чувства); а драма = вопрошание, спор. И что же? Разве только в форме повествовательно-ответной может мысль высказываться? Для мыслей особого рода — и притом самых трудных и сложных — вопрос есть более подходящий способ формулировки, чем любой однозначный ответ. Недаром в современной теоретической физике так высоко ценится способность «задать глупый вопрос»: наивно удивиться, остановиться там, где обычно гладко скользили и отполировали повествовательно-ответными предложениями, — и эта зацепка может положить начало целику...

«На дне» — извержение вулкана вопросов: лава их и камнепад забрасывается нам в душу, в ум — расхлебывай сам. Не дает пьеса готовых решений, но призывает каждого человека к исканию своего, пробуждая личность, энергию и волю к самопознанию.

Послесловие — тридцать лет спустя

Октябрь 1960-го. Вот когда на одном дыхании был написан этот экзистенциальный литературно-философский этюд — и только теперь получает возможность выйти в свет в неурезанном виде.

Был разгар «оттепели» — первое весеннее пробуждение умов после долгой сталинской зимы: все представляло и перепонималось по-новому и свежо. И в молодой «ученой дружине» теоретиков литературы из Института мировой литературы Академии наук (Бочаров Сергей, Борев, Гей, Кожинов, Палиевский, Сквозников...), к которой и я принадлежал, обдумывался и создан был за несколько лет новый тип теории литературы — не формально-логической, а на исторической основе. Речь идет о книге: «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении»: В 3 т. М.: Наука, 1962—1965. Категории литературоведения: образ, метод, характер, роды, жанры и проч. там рассматривались в единстве логического и исторического анализов: признаки понятия = фазы-стадии развития соответствующего явления. Гегелевская, в общем, идея. Но для преодоления мертвенно-школьного догматизма казенной идеологии такой подход, опираясь на Гегеля и раннего Маркса, открывал огромные просторы Духа, культуры, творчества.

Для первого тома этой «Теории литературы» мною была написана в 1959 году обширная глава: «Развитие образного сознания в литературе». Но доведена она была мною до ХХ века, и с меня потребовали ее продолжить и, в частности, рассмотреть проблемы образа на материале творчества Горького (что тогда было ритуально: «основоположник метода социалистического реализма» ведь!). Я взялся перечитывать Горького, и передо мной открылся он — совсем иной: не казенный, а поисковый мыслитель, каким и я себя чувствовал. Ведь и литературовед-то я был — поневоле, как и Бахтин, как и Лосев, сии философы-мыслители под скорлупой литературоведения и эстетики, ибо лишь в таких формах в эпоху монополизма марксистской идеологии-«философии» могла пробиваться и существовать самостоятельная философская мысль. Так что прав был участковый пристав горьковедения Бялик, обвинив меня впоследствии в дилетантизме: Горький в моей работе, действительно, — предлог-материал, на котором я ставлю проблемы Духа.

И главная среди них — как мы мыслим? Каким способом и аппаратом добываем свои понимания? Какою логикой? От чего она зависит?

Дело в том, что и Гегель, так послуживший для раскрепощения от догматического марксизма-ленинизма, переставал удовлетворять вырвавшийся на свободный поиск ум. Ведь это он провозгласил державную власть Целого перед каждой единичностью, а переводя на язык наших реалий: ценностное превосходство Государства тоталитарного, то есть все ЦЕЛО господствующего (ведь латинское *totum* и значит: «целое») над трепыханием личности. «Все действительное — разумно, и все разумное — действительно» — вот мощный его тезис-афоризм, что гипнотически действовал на души и умы нескольких поколений, парализуя веру человека в себя, а уча верить лишь объективным, наличным вокруг обстоятельствам, учреждениям и формам. Ведь раз они существуют и имеют силу — значит, не без смысла и правоты. И ты ищи их понять, а не лезь со своей дурной романтической субъективностью. Стыдись пишать, будь не мальчиком, но мужем!

Таковы аргументы, какими, по Гегелю, удушили свое «я» многие чуткие и свободолюбивые мыслители (вспомним даже Белинского в период «примирения с действительностью») и которые служили обоснованиями для «высокого» конформизма многих интеллигентов в советских условиях. А ведь это вело к разрушению ядра личности, к погашению совести — присутствовать при всевластии Зверя-Государства и молчать-оправдывать сие волей истории и «объективного духа».

Потом, в 60—70—80-е годы, у нас развернется практическое движение за права человека, «диссидентское», а тогда, на рубеже 50—60-х, оно забрезжило в духе и проявилось — и во мне вот — в формах интеллектуального восстания против господствующей логики. В нашем «марксистско-ленинском мировоззрении» она была некоей амальгамой из старомодной, формально-рассудочной, школьной логики — и софистической безнравственной «диалектики», способной своими хитроумными приемами все оправдать, что угодно. В силу этого двойного ее состава можно было на нее ополчаться в целом, нападая-ругая как бы ее одну сторону: формальную логику, опираясь на творчески понимаемую диалектику. Так это мы и делали в «Теории литературы»: опирались на принцип единства исторического и логического.

Но это рабское хитроумие меня уже не удовлетворяло. Как раз в те годы, штудируя заново немецкую классическую философию, я прильнул к нашему замечательному философу-гегельянцу Эвальду Васильевичу Ильенкову. Вдавливая в себя со скрежетом, как коронку на зуб, тяжеловесный аппарат и язык немецкой философской классики, я пронзен был бунтарским подозрением: а обязательно ли так — в этих формах двигаться мысли любой, чтобы понимать мир, историю, человека и все? Так ли уж универсальна логика, с которой они работают? Не носит ли она на себе печать и историческую («доброго старого времени» XVIII—XIX веков), и национальную — германскую? И обязан ли мой ум в России середины XX века двигаться по тем орбитам? Может быть, есть НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОГИКИ?.. Этому

последнему явлению посвящены стали 30 лет моей последующей работы в культуре, когда я принялся исследовать и описывать НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА. Но тогда этой проблемы я еще не видел, зато видел и остро переживал другую: что хваленный рационализм и действующая логика есть проекция общества, его устройства — в ум, в устройство интеллекта. И нас равно так же порабощают учреждения государства (министерства, тюрьмы, паспорта, службы), как и категории логики (правильность построения силлогизма, непротиворечивость и однозначность и т.д.). Они друг для друга, зеркально отражают и взаимно обслуживают... В уме тут звенела еще сталинская формула, вбитая с детства в сознание: «ФАКТЫ = УПРЯМАЯ ВЕЩЬ». И вдруг она молниеносно спаялась с другою — тоже на слуху бытового обихода: «ЛОГИКА ВЕЩЕЙ требует, повелевает...» — понимать так, а не иначе.

— Так вот в чем штука-то! — проснулся уразумевающий ум. — Логика-то, которой мы орудуем, — она от вещей и их интереса: его и защищает упрямо, «с фактами в руках». Вещи, факты — то есть то, что отделено от человека, мертвое, механическое, — именно на этих сваях-основах возведено здание логики, ее категории и механизм! А нельзя ли иначе взглянуть на все, на бытие, — из человека, из души? И как выразить добываемые уже в этих «шахтах-рудниках» понимания?

Как раз попалась мне тогда на перечтение пьеса «На дне» — прямо по слову: «на ловца и зверь бежит!» И произошел резонанс — горьковских поисков в том же направлении и моих нынешних раздумий. И так прозрачно мне стало каждое слово и перипетия в «На дне», будто и из своей глубины я их извлекал... Словно новое, свежее зрение в меня вошло, особая оптика вставилась — и вокруг все мне прозрачно становилось, и всякий обиходный словесный оборот рассыпался в своем первичном, свежем и дивном, значении... Потом это зрение призакрылось, но как память о пережитом состоянии того озарения-вдохновения осталась эта работа...

В «Теорию литературы» этот раздувшийся текст об одном произведении Горького, разумеется, не пошел. Образ в творчестве Горького был мною охарактеризован по другим его произведениям, а этот этюд о «На дне» так и остался неким ответвлением, старицею лежать. Правда, давал я его почтывать — и вот один известный ныне философ, прочитав, воскликнул: «Да это же наш советский экзистенциализм! Спонтанно самозародившийся!..»

И верно: не читал я еще тогда экзистенциалистских сочинений, а вот, вникнув в ядро бытия, в переживание-передумывание его, как бы само собой вышел говорить ихней «прозой». Но в лексике еще просторечной, ну — отчасти Марксо-Гегелевой: там «отчуждение», «классовое общество», «объективная истина и субъективная правда» и т.п. Но главная лексика — просторечия, обыденного обихода. И тем это интереснее: в простейших оборотах нашей

речи взрывать — вскрывать — просвечивать философемы, сверхсмыслы.

Послал я эту работу и в Саранск к Бахтину, и вот его краткий отзыв в письме от 12/XII 65:

Дорогой Георгий Дмитриевич!

Посылаю Вам Вашу работу о Горьком. Перед отправкой я перечитал ее с новым наслаждением. Работа в высшей степени глубокая и оригинальная! Никаких существенных замечаний, которые могли бы быть Вам полезными при переработке, у меня нет. Может быть, только манеру изложения следует сделать несколько «академичнее».

Если Ваша работа увидит свет (хотя бы и в смягченном варианте), я буду в совершенном восторге.

Сердечный привет от нас Берте Нисоновне и Диме.

Ваш М. Бахтин.

Понимая, что как прямо литературно-философское сочинение, эта моя работа не имеет шанса быть изданной, я пробовал подать ее как «горьковедческую». И вот в журнале «Театр» (1966, № 12) с подачи Майи Туровской и Александра Свободина вышел сокращенный вариант этой работы — как статья: «Что есть истина? (Прение о правде и лжи в «На дне» М. Горького)». Как мне рассказывали, статья вызвала живой интерес у актеров, и новая постановка «На дне» в театре-студии «Современник» использовала мою трактовку пьесы.

Но и церберы горьковедения казенного не дремали. И среди них безусловно знающий и просвещенный Борис Аронович Бялик не замедлил откликнуться — полемической статьей «Что же есть истина» в «Вопросах литературы» (1967, № 6). Она интересна, ибо дает просвещенный вариант официальных интерпретаций.

Предложил я в Гослитиздат брошюру о «На дне», но ее, как назло, послали на внутреннюю рецензию тому же Бялику — и он, естественно, завалил. Пытался я и в «Современнике» предложить, но там рецензенты издевались уж совсем не просвещенно... Вдруг из «Детской литературы» мне предложили послесловие к изданию пьесы «На дне» для учащихся написать. Я написал, но на апробацию послали в Институт мировой литературы в сектор горьковедения, где Николай Николаевич Жегалов дал мне свой, просвещенный тоже, отпор. Это было уже в 1980-м. А в 1989-м, попытавшись издать книжку в «Просвещении», был отбит отрицательной рецензией профессора К. Муратовой, с букетом тех же претензий, что и у Бялика.

Мощна когорта горьковедов-защитников! Да и ничего я против них не имею, если бы не стояли бастионом монополистов на понимание — весь народ и школу особенно охраняя, как пограничники, от иных точек зрения. Пожалуйста, имейте свой взгляд и позиции «правильные»! А читателю и интереснее впринимать разные суждения о пьесе «На дне».

25 мая 1991, деревня Новоселки.

СОДЕРЖАНИЕ

Правда — против человека	3
Логика отчуждения	8
Притча о Праведной земле	19
Царство свободы — на дне общества	27
Софисты — Сатин и Бубнов	34
Сократ — Лука	45
Человекоправда	47
Правдоносная «ложь»	60
Воскрешение личности в человеке	63
Ренессансное состояние души	68
Логика воли	74
Взыскание Человекомира	78
Поиск Общего Дела	81
Двоевластие Отчуждения и Человекомира	85
«Дну» вдогонку	89
Послесловие — тридцать лет спустя	91

Учебное издание
Гачев Георгий Дмитриевич

**ЛОГИКА ВЕЩЕЙ И ЧЕЛОВЕК.
ПРЕНИЕ О ПРАВДЕ И ЛЖИ
В ПЬЕСЕ М. ГОРЬКОГО «НА ДНЕ»**

Заведующий редакцией Г.Н. Усков. Редактор Е.П. Гречаная. Художественный редактор Е.Д. Косырева. Технические редакторы Л.А. Овчинникова, М. С. Титова. Корректор О.М. Пахомова

ИБ № 9522

Изд. № ЛЖ—133. Сдано в набор 12.11.91. Подп. в печать 14.07.92. Формат 60×88¹/16. Бум. офс. № 2.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Объем 5,88 усл.печ.л. 6,13 усл.кр.-отт. 6,36 уч.-изд.л.
Тираж 7 000 экз. Зак. № 466

Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14.

Набрано на персональном компьютере издательства

Отпечатано в московской типографии № 8. Министерства печати и массовой информации
РФ, 101898, Москва, Хохловский пер., 7.